

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



К. Паустовский
**МЕЩЕРСКАЯ
СТОРОНА**



Школьная библиотека (Детская литература)

Константин Паустовский
Мещерская сторона (сборник)

Издательство «Детская литература»

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Паустовский К. Г.

Мещерская сторона (сборник) / К. Г. Паустовский —
Издательство «Детская литература», — (Школьная
библиотека (Детская литература))

ISBN 978-5-08-005075-6

В сборник произведений классика русской литературы Константина Георгиевича Паустовского (1892–1968) вошли повести «Мещерская сторона» и «Повесть о лесах», а также избранные рассказы, воспевающие красоту природы Средней полосы России. Повесть «Мещерская сторона» включена в перечень «100 книг по истории, культуре и литературе народов Российской Федерации, рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочтению». Для среднего школьного возраста.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-08-005075-6

© Паустовский К. Г.
© Издательство «Детская
литература»

Содержание

Коротко о себе	7
Повесть о лесах	13
Скрипучие половицы	13
Мечтательница	24
Разговоры за чайным столом	27
Овраги	34
Старая яблоня	38
Речные фонари	42
Дорожная книга	45
«Не боги горшки обжигают!»	52
Конец ознакомительного фрагмента.	57

Константин Георгиевич Паустовский

Мещерская сторона

© Паустовский К. Г., наследники, 1936–1966

© Поляков Д. В., иллюстрации, 2015

© Оформление серии, составление, примечания. ОАО Издательство «Детская литература», 2015

* * *



К. Паустовский

1892—1968

Коротко о себе

С детских лет мне хотелось увидеть и испытать все, что только может увидеть и испытать человек. Этого, конечно, не случилось. Наоборот, мне кажется, что жизнь была небогата событиями и прошла слишком быстро.

Но так кажется лишь до тех пор, пока не начнешь вспоминать. Одно воспоминание вытягивает за собой другое, потом третье, четвертое. Возникает непрерывная цепь воспоминаний, и вот оказывается, что жизнь была разнообразнее, чем ты думал.

Прежде чем рассказать вкратце свою биографию, я хочу остановиться на одном своем стремлении. Оно появилось в зрелом возрасте и с каждым годом делается сильнее. Сводится оно к тому, чтобы, насколько возможно, приблизить свое нынешнее душевное состояние к той свежести мыслей и чувств, какая была характерна для дней моей юности.

Я не пытаюсь вернуть молодость – это, конечно, невозможно, – но все же пытаюсь проверять своей молодостью каждый день теперешней жизни.

Молодость для меня существует как судья моих сегодняшних мыслей и дел.

С возрастом, говорят, приходит опыт. Он заключается, очевидно, и в том, чтобы не дать потускнеть и иссякнуть всему ценному, что накопилось за прожитое время.

Родился я в 1892 году в Москве, в Гранатном переулке, в семье железнодорожного статистика. До сих пор Гранатный переулочек осеняют, говоря несколько старомодным языком, те же столетние липы, какие я помню еще в детстве.

Отец мой, несмотря на профессию, требовавшую трезвого взгляда на вещи, был неискоренимым мечтателем. Он не выносил никаких тягостей и забот. Поэтому среди родственников за ним установилась слава человека легкомысленного и бесхарактерного, репутация фантазера, который, по словам моей бабушки, «не имел права жениться и заводить детей».

Очевидно, из-за этих своих свойств отец долго не уживался на одном месте.

После Москвы он служил во Пскове, в Вильно и, наконец, более или менее прочно осел в Киеве, на Юго-Западной железной дороге.

Отец происходил из запорожских казаков, переселившихся после разгрома Сечи на берега реки Рось, около Белой Церкви.

Там жили мой дед – бывший николаевский солдат и бабка – турчанка. Дед был кроткий синеглазый старик. Он пел надтреснутым тенором старинные думки и казацкие песни и рассказывал нам много невероятных, а подчас и трогательных историй «из самой что ни на есть происшедшей жизни».

Моя мать, дочь служащего на сахарном заводе, была женщиной властной и неласковой. Всю жизнь она держалась «твердых взглядов», сводившихся преимущественно к задачам воспитания детей.

Неласковость ее была напускная. Мать была убеждена, что только при строгом и суровом обращении с детьми можно вырастить из них «что-нибудь путное».

Семья наша была большая и разнообразная, склонная к занятиям искусством. В семье много пели, играли на рояле, благоговейно любили театр. До сих пор я хожу в театр, как на праздник.

Учился я в Киеве, в классической гимназии. Нашему выпуску повезло: у нас были хорошие учителя так называемых гуманитарных наук – русской словесности, истории и психологии.

Почти все остальные преподаватели были или чиновниками, или маньяками. Об этом свидетельствуют даже их прозвища: «Навуходоносор», «Шпонька», «Маслобой», «Пече-

нег». Но литературу мы знали и любили и, конечно, больше времени тратили на чтение книг, нежели на приготовление уроков.

Со мной училось несколько юношей, ставших потом известными людьми в искусстве. Учился Михаил Булгаков (автор «Дней Турбиных»), драматург Борис Ромашов, режиссер Берсенев, композитор Лятошинский, актер Куза и певец Вертинский.

Лучшим временем – порой безудержных мечтаний, увлечений и бессонных ночей – была киевская весна, ослепительная и нежная весна Украины. Она тонула в росистой сирени, в чуть липкой первой зелени киевских садов, в запахе тополей и розовых свечах старых каштанов.

В такие вёсны нельзя было не влюбляться в гимназисток с тяжелыми косами и не писать стихов. И я писал их без всякого удержу, по два-три стихотворения в день.

Это были очень нарядные и, конечно, плохие стихи. Но они приучили меня к любви к русскому слову и к мелодичности русского языка.

О политической жизни страны мы кое-что знали. У нас на глазах прошла революция 1905 года, были забастовки, студенческие волнения, митинги, демонстрации, восстание саперного батальона в Киеве, «Потемкин», лейтенант Шмидт, убийство Столыпина в Киевском оперном театре.

В нашей семье, по тогдашнему времени считавшейся передовой и либеральной, много говорили о народе, но подразумевали под ним преимущественно крестьян. О рабочих, о пролетариате говорили редко. В то время при слове «пролетариат» я представлял себе огромные и дымные заводы – Путиловский, Обуховский и Ижорский, – как будто весь русский рабочий класс был собран только в Петербурге и именно на этих заводах.

Когда я был в шестом классе, семья наша распалась, и с тех пор я сам должен был зарабатывать себе на жизнь и учение.

Перебивался я довольно тяжелым трудом, так называемым репетиторством.

В последнем классе гимназии я написал первый рассказ и напечатал его в киевском литературном журнале «Огни». Это было, насколько я помню, в 1911 году.

С тех пор решение стать писателем завладело мной так крепко, что я начал подчинять свою жизнь этой единственной цели.

В 1912 году я окончил гимназию, два года пробыл в Киевском университете и работал и зиму и лето все тем же репетитором, вернее, домашним учителем.

К тому времени я уже довольно много поездил по стране (у отца были бесплатные железнодорожные билеты).

Я был в Польше (в Варшаве, Вильно и Белостоке), в Крыму, на Кавказе, в Брянских лесах, в Одессе, в Полесье и Москве. Туда после смерти отца переехала моя мать и жила там с моим братом – студентом университета Шанявского. В Киеве я остался один.

В 1914 году я перевелся в Московский университет и переехал в Москву.

Началась Первая мировая война. Меня как младшего сына в семье в армию по тогдашним законам не взяли.

Шла война, и невозможно было сидеть на скучноватых университетских лекциях. Я томился в унылой московской квартире и рвался наружу, в гущу той жизни, которую я только чувствовал рядом, около себя, но еще так мало знал.

Я пристрастился в то время к московским трактирам. Там за пять копеек можно было заказать «пару чая» и сидеть весь день в людском гомоне, звоне чашек и бряцающем грохоте «машин» – оркестриона. Почему-то почти все «машин» в трактирах играли одно и то же: «Шумел, горел пожар московский...» или «Ах, зачем эта ночь так была хороша!...».

Трактиры были народными сборищами. Кого только я там не встречал! Извозчиков, юродивых, крестьян из Подмоскovie, рабочих с Пресни и из Симоновой слободы, толстовцев, молочниц, цыган, белошвеек, ремесленников, студентов, проституток и бородатых сол-

дат – «ополченцев». И каких только говоров я не наслушался, жадно запоминая каждое меткое слово.

Тогда у меня уже созрело решение оставить на время писание туманных своих рассказов и «уйти в жизнь», чтобы «все знать, все почувствовать и все понять». Без этого жизненного опыта пути к писательству были наглухо закрыты – это я понимал хорошо.

Я воспользовался первой же возможностью вырваться из скудного своего домашнего обихода и поступил вожатым на московский трамвай. Но продержался я в вожатых недолго: вскоре меня разжаловали в кондукторы за то, что я разбил автомобиль с молоком знаменитой в то время молочной фирмы Бландова.

Поздней осенью 1914 года в Москве начали формировать несколько тыловых санитарных поездов. Я ушел с трамвая и поступил санитаром на один из этих поездов.

Мы брали раненых в Москве и развозили их по глубоким тыловым городам. Тогда я впервые узнал и всем сердцем и навсегда полюбил среднюю полосу России с ее низкими и, как тогда мне казалось, сиротливыми, но милыми небесами, с молочным дымком деревень, ленивым колокольным звоном, поземками и скрипом розвальней, мелкоколесьем и унавоженными городами: Ярославлем, Нижним Новгородом, Арзамасом, Тамбовом, Симбирском и Самарой.

Все санитары на поезде были студенты, а сестры – курсистки. Жили мы дружно и работали много.

Во время работы на санитарном поезде я слышал от раненых множество замечательных рассказов и разговоров по всяческим поводам.

Простая запись всего этого составила бы несколько томов. Но записывать у меня не было времени. Поэтому я с легкой завистью читал потом превосходную книгу Софьи Федорченко «Народ на войне» – дословную запись солдатских разговоров.

Книга эта прогремела по России. Она была сильна как своей правдивостью, так и тем, что в ней уже слышался (в словах солдат) еще отдаленный, но явственный гром приближающейся революции.

В 1915 году всю нашу студенческую команду перевели с тылового поезда на полевой. Теперь мы брали раненых вблизи места боев, в Польше и Галиции, и отвозили их в Гомель и Киев. Осенью 1915 года я перешел с поезда в полевой санитарный отряд и прошел с ним длинный путь отступления от Люблина в Польше до городка Несвижа в Белоруссии.

В отряде из попавшегося мне засаленного обрывка газеты я узнал, что в один и тот же день были убиты на разных фронтах два моих брата. Я остался у матери совершенно один, кроме полуслепой и больной моей сестры.

Я вернулся к матери, но долго не мог высидеть в Москве и снова начал свою скитальческую жизнь. Я уехал в Екатеринослав и работал там на металлургическом Брянском заводе, потом перекочевал в Юзовку на Новороссийский завод, а оттуда в Таганрог на котельный завод Нев-Вильдэ.

Осенью ушел с котельного завода в рыбацкую артель на Азовском море.

В свободное время я начал писать в Таганроге свою первую повесть «Романтики». Писал ее долго, несколько лет. Вышла в свет она значительно позже – в тридцатых годах в Москве.

Февральская революция застала меня в глухом городке Ефремове, бывшей Тульской губернии.

Я тотчас уехал в Москву, где уже шли и день и ночь шумные митинги на всех перекрестках, но главным образом около памятников Пушкину и Скобелеву.

Я начал работать репортером в газетах, не спал и не ел, носился по митингам и впервые познакомился с двумя писателями: другом Чехова стариком Гиляровским, «Дядей Гиляем», и начинающим писателем-волгарем Александром Степановичем Яковлевым.

Судорожная жизнь газетных редакций совершенно захватила меня, а беспокойное и шумное племя журналистов казалось мне наилучшей средой для писателя.

После Октябрьской революции и переезда Советского правительства в Москву я часто бывал на заседаниях ЦИКа (в «Метрополе», в «зале с фонтаном»), несколько раз слышал Ленина, был свидетелем всех событий в Москве в то небывалое, молодое и бурное время.

Потом опять скитания по югу страны, снова Киев, служба в Красной Армии, в караульном полку, бои со всякими отпетыми атаманами: Зеленым, Струком, Червоным Ангелом и «Таращанскими хлопцами».

Киев в то время часто осаждали. Вокруг города почти непрерывно гремела канонада, и население толком даже не знало, кто пытается захватить город – петлюровцы, Струк или деникинцы.

Из Киева я уехал в Одессу, начал работать там в газете «Моряк» – пожалуй, самой оригинальной из всех тогдашних советских газет. Она печаталась на обороте разноцветных листов от чайных бандеролей и помещала множество морского материала – от стихов французского поэта и матроса Тристана Корбьера до первых рассказов Катаева.

Была блокада. Море было пустынно, но, как всегда, прекрасно. В редакции работало около семидесяти сотрудников, но никто из них не получал ни копейки гонорара.

Платили то дюжиной перламутровых пуговиц, то синькой, то пачкой черного кубанского табака. Время было голодное и веселое.

В Одессе я впервые попал в среду молодых писателей. Среди сотрудников «Моряка» были Катаев, Ильф, Багрицкий, Шенгели, Лев Славин, Бабель, Андрей Соболев, Семен Кирсанов и даже престарелый писатель Юшкевич. Мы смотрели на него как на реликвию.

В Одессе я жил в полуразрушенной дворницкой на Ланжероне, у самого моря, и много писал, но еще не печатался. Вернее, не позволял себе печататься, считая, что еще не добился умения овладевать любым материалом и жанром. Эту способность я считал в то время главным признаком писательской зрелости.

Вскоре мной снова овладела «муза дальних странствий». Я уехал из Одессы, жил в Сухуми – тогда еще очень провинциальном городке, в Батуми с его тяжелыми теплыми ливнями, в Тбилиси, был в Эривани, Баку и Джульфе, пока наконец не вернулся в Москву.

Несколько лет я работал в Москве редактором РОСТА и уже начал время от времени печататься.

Первой моей книгой был сборник рассказов «Встречные корабли».

Летом 1932 года я задумал написать книгу об уничтожении пустынь, объехал все берега Каспийского моря и, возвратившись, написал повесть «Кара-Бугаз». Писал я ее не в Москве, а в Березниках, на Северном Урале, куда был послан корреспондентом РОСТА.

После выхода в свет «Кара-Бугаза» я оставил службу, и с тех пор писательство стало моей единственной всепоглощающей, порой мучительной, но всегда прекрасной и любимой работой.

Примерно в это время я «открыл» для себя под самой Москвой неведомую и заповедную землю – Мещеру.

Открыл я ее случайно, рассматривая клочок карты, – в него мне завернули в соседнем гастрономе пачку чая.

На этой карте было все, что привлекало меня еще с детства, – глухие леса, озера, извилистые лесные реки, заброшенные дороги и даже постоянные дворы.

Я в тот же год поехал в Мещеру, и с тех пор этот край стал второй моей родиной. Там до конца я понял, что значит любовь к своей земле, к каждой заросшей гусиной травой колее дороги, к каждой старой ветле, к каждой чистой лужице, где отражается прозрачный серп месяца, к каждому пересвисту птицы в лесной тишине.

Ничто так не обогатило меня, как этот скромный и тихий край. Там впервые я понял, что образность и волшебность (по словам Тургенева) русского языка неуловимым образом связаны с природой, с бормотанием родников, криком журавлиных стай, с угасающими закатами, отдаленной песней девушек в лугах и тянущим издалека дымком от костра.

Мещера постепенно стала любимым приютом нескольких писателей. Там жил Фраерман и часто бывали Гайдар, Роскин, Андрей Платонов.

В Мещере я сдружился с Гайдаром – этим удивительным человеком, существовавшим в повседневной действительности так же необыкновенно и задушевно, как и в своих книгах.

Мещере я обязан многими своими рассказами, «Летними днями» и маленькой повестью «Мещерская сторона».

Почти каждая моя книга – это поездка. Или, вернее, каждая поездка – это книга.

После поездки в Поти я написал «Колхиду», после изучения берегов Черноморья – «Черное море», после жизни в Карелии и Петрозаводске – «Судьбу Шарля Лонсевиля» и «Озерный фронт».

Свою любовь к Ленинграду я выразил в какой-то мере в «Северной повести» и во многих других вещах.

Ездил я по-прежнему много, даже больше, чем раньше. За годы своей писательской жизни я был на Кольском полуострове, изъездил Кавказ и Украину, Волгу, Каму, Дон, Днепр, Оку и Десну, Ладожское и Онежское озера, был в Средней Азии, на Алтае, в Сибири, на чудесном нашем северо-западе: в Пскове, Новгороде, Витебске, в пушкинском Михайловском, в Эстонии, Латвии, Литве, Белоруссии.

Во время Великой Отечественной войны я был военным корреспондентом на Южном фронте и тоже изъездил множество мест.

У каждого писателя своя манера жить и писать. Что касается меня, то для плодотворной работы мне нужны две вещи: поездки по стране и сосредоточенность.

Написал я за свою жизнь как будто много, но меня не покидает ощущение, что все написанное только начало, а вся настоящая работа еще впереди. Это довольно нереальная мысль, если принять во внимание мой возраст.

Жизнь всегда кажется мне смертельно интересной во всех своих аспектах. Этим, очевидно, и объясняется, что я с одинаковой охотой обращаюсь к самым разнообразным темам и жанрам: рассказу, повести, роману, сказке, биографической повести, краеведческому очерку, пьесе, статьям и сценариям.

Несколько особняком стоит моя работа над автобиографическим циклом «Повесть о жизни». Первая книга этого цикла, «Далекие годы», вышла в 1947 году. Сейчас уже вышло шесть книг: «Далекие годы», «Беспокойная юность», «Начало неведомого века», «Время больших ожиданий», «Бросок на юг» и «Книга скитаний». Мне предстоит написать еще две книги, чтобы довести действие этого цикла до наших дней¹.

В послевоенные годы я много ездил по Западу. Был в Польше, Чехословакии, Болгарии, Турции, Италии – жил на острове Капри, в Турине, Риме; в Париже и на юге Франции – в Авиньоне и Арле. Был в Англии, Бельгии – в Брюсселе и Остенде, Голландии, Швеции и мимоходом еще в других странах.

Вот очень короткий отчет о моей жизни. Более полный отчет будет дан в том автобиографическом цикле, о котором я только что упомянул.

Мы часто обращаемся внутренним своим взором к Пушкину. Он вместил все, чем живет человек, в пределы своей блистательной поэзии.

¹ К сожалению, из-за смерти писателя в 1968 г. эти две книги так и не были написаны. (Примеч. ред.)

Заканчивая этот короткий очерк своей жизни, я хочу напомнить и себе и другим писателям тот пушкинский великий закон мастерства, следование которому навеки соединяет сердце писателя с сердцем его народа. Закон этот прост. Пушкин сказал:

...Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.

Константин Паустовский

Март 1966 г.

Крым. Ореанда

Повесть о лесах

Краса полуночной природы, Любовь очей, моя страна!
Н. М. Языков^{*2}



Скрипучие половицы



Дом разошёлся от старости. А может быть, и от того, что он стоял на поляне в сосновом лесу и от сосен все лето тянуло жаром. Иногда дул ветер, но он не проникал даже в открытые окна мезонина. Он только шумел в вершинах сосен и проносил над ними вереницы кучевых облаков.

Чайковскому нравился этот деревянный дом. В комнатах слабо пахло скипидаром и белыми гвоздиками. Они в изобилии цвели на поляне перед крыльцом. Растрепанные, высохшие, они даже не были похожи на цветы, а напоминали клочья пуха, прилипшего к стебелькам.

Единственное, что раздражало композитора, – это скрипучие половицы. Чтобы пройти от двери к роялю, надо было переступить через пять шатких половиц. Со стороны это выгля-

² Объяснение слов и выражений, отмеченных в тексте знаком *, см. в примечаниях на с. 431–442.

дело, должно быть, забавно, когда пожилой композитор пробирался к роялю, приглядываясь к половицам прищуренными глазами.

Если удавалось пройти так, чтобы ни одна из них не скрипнула, Чайковский садился за рояль и усмехался. Неприятное осталось позади, а сейчас начнется удивительное и веселое: разохшийся дом запоеет от первых же звуков рояля. На любую клавишу отзовутся тончайшим резонансом сухие стропила, двери и старушка люстра, потерявшая половину своих хрусталей, похожих на дубовые листья.

Самая простая музыкальная тема разыгрывалась этим домом как симфония.

«Прекрасная оркестровка!» – думал Чайковский, восхищаясь певучестью дерева.

С некоторых пор Чайковскому начало казаться, что дом уже с утра ждет, когда композитор, напившись кофе, сядет за рояль. Дом скучал без звуков.

Иногда ночью, просыпаясь, Чайковский слышал, как, потрескивая, пропоет то одна, то другая половица, как бы вспомнив его дневную музыку и выхватив из нее любимую ноту. Еще это напоминало оркестр перед увертюрой, когда оркестранты настраивают инструменты. То тут, то там – то на чердаке, то в маленьком зале, то в застекленной прихожей – кто-то трогал струну. Чайковский сквозь сон улавливал мелодию, но, проснувшись утром, забывал ее. Он напрягал память и вздыхал: как жаль, что ночное треньканье деревянного дома нельзя сейчас проиграть! Проиграть незамысловатую песню пересохшего дерева, оконных стекол с обвалившейся замазкой, ветра, постучавшего веткой по крыше.

Прислушиваясь к ночным звукам, он часто думал, что вот проходит жизнь, а ничего еще толком не сделано. Все написанное – только небогатая дань своему народу, друзьям, любимому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Но еще ни разу ему не удалось передать тот легкий восторг, что возникает от зрелища радуги, от ауканья крестьянских девушек в чаще, от самых простых явлений окружающей жизни.

Чем проще было то, что он видел, тем труднее оно ложилось на музыку. Как передать хотя бы вчерашний случай, когда он укрылся от проливного дождя в избе у объездчика Тихона! В избу вбежала Феня – дочь Тихона, девочка лет пятнадцати. С ее волос стекали капли дождя. Две капли повисли на кончиках маленьких ушей. Когда из-за тучи ударило солнце, капли в ушах у Фени заблестели, как алмазные серьги.

Чайковский любовался девочкой. Но Феня стряхнула капли, все кончилось, и он понял, что никакой музыкой не сможет передать прелесть этих мимолетных капель.

А Фет распевал в своих стихах: «Лишь у тебя, поэт, крылатый слова звук хватает на лету и закрепляет вдруг и темный бред души, и трав неясный запах...»*

Нет, очевидно, это ему не дано. Он никогда не ждал вдохновения. Он работал, работал, как поденщик, как вол, и вдохновение рождалось в работе.

Пожалуй, больше всего ему помогали леса, лесной дом, где он гостил этим летом, просеки, заросли, заброшенные дороги – в их колеях, налитых дождем, отражался в сумерках серп месяца, – этот удивительный воздух и всегда немного печальные русские закаты.

Он не променяет эти туманные зори ни на какие великолепные позлащенные закаты Италии. Он без остатка отдал свое сердце России – ее лесам и деревушкам, околицам, тропинкам и песням. Но с каждым днем его все больше мучает невозможность выразить всю поэзию своей страны. Он должен добиться этого. Нужно только не щадить себя.

К счастью, в жизни выдаются удивительные дни – вот такие, как сегодняшний. Он проснулся очень рано и несколько минут не двигался, прислушиваясь к перезвону лесных жаворонков. Даже не глядя в окно, он знал, что в лесу лежат росистые тени.

На соседней сосне куковала кукушка. Он встал, подошел к окну, закурил.

Дом стоял на пригорке. Леса уходили вниз, в веселую даль, где лежало среди зарослей озеро. Там у композитора было любимое место – оно называлось Рудым Яром.

Самая дорога к Яру всегда вызывала волнение. Бывало, зимой, в сырой гостинице в Риме, он просыпался среди ночи и начинал шаг за шагом вспоминать эту дорогу: сначала по просеке, где около пней цветет розовый иван-чай, потом березовым грибным мелколесьем, потом через поломанный мост над заросшей речкой и по изволоку – вверх, в корабельный бор.

Он вспоминал этот путь, и у него тяжело билось сердце. Это место казалось ему наилучшим выражением русской природы.

Он окликнул слугу и заторопил его, чтобы поскорее умыться, выпить кофе и идти на Рудой Яр. Он знал, что сегодня, побывав там, он вернется – и давно живущая где-то внутри любимая тема о лирической силе этой лесной стороны перельется через край и хлынет потоками звуков.

Так и случилось. Он долго простоял на обрыве Рудого Яра. С зарослей липы и бересклета капала роса. Столько сырого блеска было вокруг, что он невольно прищурил глаза.

Но больше всего в этот день Чайковского поразила свет. Он вглядывался в него, видел всё новые пласты света, падавшие на знакомые леса. Как только он раньше не замечал этого?

С неба свет лился прямыми потоками, и под этим светом особенно выпуклыми и кудрявыми казались вершины леса, видного сверху, с обрыва.

На опушку падали косые лучи, и ближайшие стволы сосен были того мягкого золотистого оттенка, какой бывает у тонкой сосновой дощечки, освещенной сзади свечой. И с необыкновенной в то утро зоркостью он заметил, что сосновые стволы тоже отбрасывают свет на подлесок и на траву – очень слабый, но такого же золотистого, розоватого тона.

И наконец, он увидел сегодня, как заросли ив и ольхи над озером были освещены снизу голубоватым отблеском воды.

Знакомый край был весь обласкан светом, просвечен им до последней травинки. Разнообразие и сила освещения вызвали у Чайковского то состояние, когда кажется, что вот-вот случится что-то необыкновенное, похожее на чудо. Он испытывал это состояние и раньше. Его нельзя было терять. Надо было тотчас возвращаться домой, садиться за рояль и наспех записывать проигранное на листках нотной бумаги.

Чайковский быстро пошел к дому. На поляне стояла высокая раскидистая сосна. Ее он прозвал «маяком». Она тихо шумела, хотя ветра и не было. Он, не останавливаясь, провел рукой по ее нагретой коре.

Дома он приказал слуге никого к себе не пускать, прошел в маленький зал, запер дребезжащую дверь и сел к роялю.

Он играл. Вступление к теме казалось расплывчатым и сложным. Он добивался ясности мелодии – такой, чтобы она была понятна и мила и Фене, и даже старому Василию, ворчливому леснику из соседней помещичьей усадьбы.

Он играл, не зная, что Феня принесла ему махотку* земляники, сидит на крыльце, крепко сжимает загорелыми пальцами концы белого головного платка и, приоткрыв рот, слушает. А потом приплелся Василий, сел рядом с Феней, отказался от городской папироски, предложенной слугой, и скрутил сигарку из самосада.

– Играл? – спросил, подымив сигаркой, Василий. – Прекратить, говоришь, нельзя?

– Никак! – ответил слуга и усмехнулся на необразованность лесника. – Он музыку сочиняет. Это, Василий Ефимыч, святое дело.

– Дело, конечно, святое, – согласился Василий. – А ты бы все-таки доложил.

– И не просите. Надо же иметь понимание вещей.

– А мы что ж, не понимаем? – рассердился Василий. – Ты, брат, охраняй, да в меру. Мое дело, ежели разобраться, поважнее, чем этот рояль.

– Ой!.. – вздохнула Феня и еще туже затянула концы платка. – Весь бы день слухала!

Глаза у нее были серые, удивленные, и в них виднелись коричневые искорки.

– Вот, – сказал с укором слуга, – девчонка босоногая, и та чувствует! А ты протестуешь! Смыслу от тебя не добьешься. И неизвестно, за каким ты делом пришел.

– Я не в трактир пришел, – ответил бранчливо Василий. – В трактире встретимся – будем лаяться, кипеть до утра. Я к Петру Ильичу за советом пришел.

Он снял шапку, поскреб серые космы, потом нахлобучил шапку и сказал:

– Слыхали небось? Помещик мой не вытянул, ослаб. Весь лес продал.

– Да ну!

– Вот тебе и ну! Ну да ну, повесь язык на сосну!

– Ты чего вяжешься? – обиделся слуга. – А то я и ответить могу!

– Жилетку ты носишь бархатную, – пробормотал Василий, – с кармашками. А что в них класть, неведомо. Леденцы для девиц? Или платочек засунуть и пойти форсить под окошками? Ты, выходит, блудный сын. Вот ты кто!

Феня фыркнула. Слуга молчал, но смотрел на Василия презрительно.

– То-то! – сказал Василий. – Понимать надо, где правда, а где беззаконие. Лес помещик профукал. А толку что? С долгами расплатиться не хватит.

– Кому продал?

– Харьковскому купцу Троценке. Принесла его сюда, за тыщи верст*, нелегкая из Харькова!.. Слышал про такого?

– Купцов много, – уклончиво ответил слуга. – Ежели бы еще он был московский... да первой гильдии...

– Повидал я купцов на своем веку каких хошь гильдий. Таких видал оборотов, что спаси господи! А этот – с виду приличный господин. В золотых очках, и борода седенькая, гребешочком расчесанная. Чистая борода. Отставной штабс-капитан. А не похоже. Вроде как церковный староста. В чесучовом пиджаке ходит. А в глаза, брат, не гляди – там пусто. Как в могиле. Приехал с ним приказчик, все хвалится: «Мой, – говорит, – волкодав леса свел по всей Харьковской и Курской губерниям. Сплошной рубкой. Он, – говорит, – к лесу злой – на семена ничего не оставит. На лесах большие капиталы нажил». Думали, конечно, что врет приказчик. Они при денежных людях угождают; им соврать или человека разуть-раздеть – пустое дело. А вышло на проверку, что не брешет приказчик. Купил Троценко лес, рубаху еще не сменил, а пригнал уже лесорубов и пильщиков. С завтрашнего дня лес начнут валить. Всё, говорят, велел пустить под топор, до последней осины. Так-то!

– Серьезный мужчина, – заметил слуга.

– Хо-озяин! – злобно выкрикнул Василий. – Шея у него из одних мослаков, у анафемы!

– А тебе что? Твоя какая беда? Что велят, то и делай. Только поспевай шапку скинуть.

– Служишь ты у хорошего господина, – раздумчиво сказал Василий, – а душа у тебя как гнилой орех. Щелкнешь – а в нем вместо ядра белый червь. Был бы я твоим барином, обязательно бы тебя выгнал. Взашей! Как язык поворачивается такое спрашивать – мне-то что! Да я со своих двадцати годов к этому лесу приставлен. Я его растил, нянчил. Как баба ребят не растит.

– Вона! – насмешливо отозвался слуга.

– «Вона!» – передразнил его Василий. – А теперь что? Разбой! Да я еще должен дерева к смерти метить. Нет, брат, совесть у меня не бумажная. Меня не купишь. Теперь одна путь – жаловаться.

– Кому? – спросил слуга и пустил из ноздрей табачный дым. – Царю Гороху?

– Как – кому? Губернатору. Земству*. А не поможет – в суд! Дойти до Сената*.

– Будет Сенат с таким делом вожжаться!

– А не будет – так до царя-императора!

– Ну а как царь не поможет?

– Тогда всем миром стать и стоять. Стенкой. Не допустим, мол, разбоя! Уходи, откуда пришел!

– Мечты!.. – вздохнул слуга и затоптал папиросу. – С такими словами ты лучше к Петру Ильичу не приступай.

– Это мы еще поглядим!

– Ну и сиди, дождайся! – рассердился слуга. – Только имей в виду, что ежели он заиграется, так до ночи не выйдет.

– Небось выйдет! Ты меня не пугай. Я, брат, не из робких.

Слуга взял у Фени махотку с земляникой и ушел в дом. Феня еще долго сидела пригорюнившись, смотрела перед собой удивленными глазами. Потом тихонько встала и, оглядываясь, пошла прочь по дороге. А Василий палил сигарки, скреб грудь, ждал. Солнце уже перевалило к вечеру, от сосен пошли длинные тени, а музыка не затихала.

«Колдует! – подумал Василий, поднял голову, прислушался. – Господи, да ведь это как бы знакомое! Неужто наше, деревенское? «Среди долины ровныя...»*! Нет, не то. А схоже! Или то пастухи заиграли в лугах, скликая к вечеру стадо? Или то соловьи ударили сразу, будто сговорились, по окрестным кустам? Эх, старость! А душа, видно, не сдается. Душа помнит молодость. С молодостью человеку расставаться куда как жаль. Не с руки расставаться!»

Когда в окнах запылал багровый закатный огонь, музыка наконец оборвалась. Несколько минут было тихо. Потом скрипнула дверь. Чайковский вышел на крыльцо, достал из кожаного портсигара папиросу. Он был бледен, руки у него дрожали.

Василий поднялся, шагнул к Чайковскому, стал на колени, стащил с головы выгоревший картуз, всхлипнул.

– Ты что? – быстро спросил Чайковский и схватил Василия за плечо. – Встань! Что с тобой, Василий?

– Спаси! – прохрипел Василий и начал через силу подниматься, опираясь рукой о ступеньку. – Мочи моей нету! Криком бы кричал, да никто не отзовется. Помоги, Петр Ильич, не дай случиться палачеству!

Василий прижал к глазам рукав застиранной синей рубахи. Он долго не мог ничего выговорить, сморкался, а когда наконец рассказал все как есть, то даже оторопел: никогда он не видел Петра Ильича в таком гневе.

Все лицо у Чайковского пошло красными пятнами. Обернувшись к дому, он крикнул:

– Лошадей!

На крыльцо выскочил испуганный слуга:

– Звали, Петр Ильич?

– Лошадей! Вели закладывать.

– Куда ехать-то?

– К губернатору.

Чайковский плохо помнил эту позднюю поездку. Коляску подбрасывало на выбоинах и корнях. Лошади всхрапывали, пугались. С неба падали звезды. Холодом ударяло в лицо из заболоченных чащ.

Временами дорога прорывалась через такую гущу лещины, что нужно было сидеть согнувшись, чтобы ветками не исхлестало лицо. Потом лес кончился, дорога пошла под гору, в просторные луга. Кучер гикнул, и лошади пошли вскачь.

«Успею ли? – думал Чайковский. – В крайнем случае разбужу. Завтра начнут валить лес. Что за подлость такая!»

С губернатором он познакомился как-то на благотворительном концерте в губернском городе. Смутно помнился тучный человек в тесном сюртуке, с припухшими, больными веками. Поговаривали, что губернатор – либерал.

Вот и город. Колеса загремели по мосту, пересчитали все бревна, потом покатались по мягкой пыли. В окошках церковно блестели киоты*. Потянулись каменные лабазы*. Проехали мимо темной каланчи, мимо сада за высокой оградой. Коляска остановилась у белого дома с облупленными колоннами.

Чайковский позвонил у калитки.

Из сада доносились голоса, смех, удары деревянных молотков. Там, должно быть, играли при фонарях в крокет. Значит, в доме была молодежь. Это успокоило Чайковского. Он поверил, что ему удастся убедить губернатора. Как бы ни был губернатор сух и чиновен, ему будет стыдно перед своей молодежью отказать Чайковскому в таком правом деле.

Горничная в ситцевом, до скрипа накрахмаленном платье провела Чайковского на веранду, где губернатор пил чай. Он был вдовец, и чай разливала пожилая экономка с оскорбленным лицом.

Губернатор тяжело встал, сделал шаг навстречу. На нем была шелковая белая косоворотка с расстегнутым воротом. Он извинился, глядя на Чайковского припухшими глазами.

Стук крокетных шаров в саду прекратился. Должно быть, молодежь узнала Чайковского и прекратила играть. Да и трудно было его не узнать – изящного, сидящего, со знакомыми по портретам серыми внимательными глазами. А когда он, слегка поклонившись, принял от экономки стакан чаю, молодежь увидела его руку – тонкую, но сильную руку музыканта. На портретах его часто изображали облокотившимся на эту руку.

– Существующие законоположения, – медленно говорил губернатор, выжимая ложечкой в стакане чая ломтик лимона, – к сожалению, не дают мне возможности, Петр Ильич, что-либо предпринять. Вырубка леса разрешена Трощенко на основании имеющихся на то инструкций. Господин Трощенко волен действовать к своей выгоде. Ничего тут не поделаешь!

Губернатор выжал лимон и выудил его ложечкой из стакана.

– А что, собственно, вы находите в действиях Трощенко преступного? – осведомился он вежливо.

Чайковский молчал. Что он мог сказать этому человеку? Что гибель лесов несет его стране разорение? Губернатор, может быть, и поймет, но, руководствуясь законами и разъяснениями к ним, тотчас мягко отведет это возражение. Что же сказать еще? О поруганной красоте земли? О своем убитом вдохновении? О могучем влиянии лесов на душу человека? Что сказать? «Мы тем и замечательны, что вспоили и вскормили свою народную силу в согласии с этой удивительной природой»? Или просто признаться, что жаль до боли этих лесов, их свежести, шума, сияния воздуха на полянах?

Чайковский молчал.

– Конечно, – сказал губернатор и поднял брови, как бы о чем-то раздумывая, – лесное хищничество – вещь безобразная. Но я бессилен помочь вам в этом затруднении. Рад бы душой, но не могу, Петр Ильич. Разделяю ваше негодование. Но стремления артистической натуры не всегда совпадают с коммерческим интересом.

Чайковский встал, откланялся и молча пошел к выходу. Губернатор торопливо шел позади.

Над крокетной площадкой висели на ветках фонари. Две девушки и юнкер стояли в саду с крокетными молотками в руках и молча смотрели вслед Чайковскому.

Обратно ехали медленно. Временами кучер засыпал. Голова его моталась, как у пьяного, пока коляску не встряхивало на ухабе. Тогда кучер просыпался, покрикивал на лошадей: «Но, лодыри!» – и ерзал на козлах. Лошади на минуту ускоряли шаг, а потом снова едва плелись, фыркали, тянулись к темной траве по обочинам дороги.

Чайковский курил, откинувшись на спинку кожаного сиденья, подняв воротник пальто. Что делать? Один выход: перекупить у Трощенко втридорога лес. Но где взять денег?

Послать разве завтра же телеграмму своему издателю Юргенсону? Пусть достанет деньги где хочет. Под заклад его сочинений... Это решение несколько успокоило Чайковского.

– Не гони, Иван, ради бога! – сказал он, хотя кучер ни разу не подхлестнул лошадей.

Чайковскому хотелось ехать долго, всю ночь, – в дремоте, легкой, неясной, представлять себя едущим среди этой темной равнины к друзьям, где его ждут признание, счастье...

Когда Чайковский очнулся, коляска стояла на берегу реки. Темнели заросли. Кучер слез с козел и, поправив кнутовищем упряжь на лошадях, сказал:

– Паром на том берегу. Спят, должно, перевозчики. Покричать, что ли? – Он подошел к самой воде, помедлил, негромко крикнул: – Перево-оз!

Никто не ответил. Кучер подождал, снова крикнул. На том берегу задвигался огонек. Кто-то шел с сигаркой. Паром, скрипя, отчалил.

Когда паром подошел, Чайковский вышел из коляски. Кучер осторожно свел лошадей на дощатый помост. Потом долго шуршал канат, кучер тихо переговаривался с перевозчиком. Из близкого леса тянуло теплом.

Какое облегчение! Он спасет этот уголок земли. К нему он привязался душой. Эти леса были неотделимы от его размышлений, от музыки, рождавшейся в тайниках сознания, от лучших минут его жизни. А их было не так уж много, этих минут.

Если бы композитора спросили, как он написал прославленные свои вещи, он мог бы ответить только одно: «По совести говоря, не знаю». Он нарочно говорил иногда о своей музыке как о подённой работе*, но знал, что это далеко не так. И говорил он о ней как о чем-то обыденном только потому, что сам не мог понять, как это происходит.

Недавно в Петербурге восторженный студент спросил его, в чем тайна его музыкального гения. Студент так и сказал: «гения». Чайковский вспыхнул, покраснел – он никак не мог принять по отношению к себе это высокое слово – и резко ответил: «В чем тайна? В работе. И никакой тайны вообще нет. Я сажусь за рояль, как сапожник садится тачать сапоги».

Студент ушел огорченный. Тогда Чайковскому сгоряча показалось, что он был прав. А сейчас, перед лицом этой ночи, слушая, как журчит вода о бревна парома, он подумал, что создавать не так уж просто. Это приходит внезапно, как в забытых стихах: «Одной волной подняться в жизнь иную, учуять ветер с цветущих берегов...»* Ветер с цветущих берегов! У него замерло сердце. Какие неожиданности таит в себе жизнь! И как хорошо, что мы не знаем, когда она их откроет: здесь ли, на пароме, в блеске ли театрального зала, под молоденькой сосной, где качается от неощутимого ветра ландыш, или в сиянии женских глаз, ласковых и пытливых.

Как хорошо знать, что в содружестве с этими лесами, в полной безмятежности он окончит начатую вчера работу и посвятит ее... кому? Тому молодому застенчивому собрату, бывшему земскому доктору, чьи рассказы он читает и перечитывает по вечерам, – Антону Чехову. Пусть сердятся музыканты. Он устал от их самонадеянности, солидности и неискренних похвал.

После переправы, сядя в коляску, Чайковский сказал кучеру:

– В усадьбу к Липецкому. Там этот купец остановился... как его... Трощенко?

– Надо быть, там. Да рановато приедем, Петр Ильич. Только-только начнет развиднеть.

– Ничего. Мне нужно перехватить его пораньше.

В усадьбе Чайковский Трощенко не застал.

Уже рассвело. Весь усадебный двор зарос репейником. Среди репейника бегал по ржавой проволоке осипший пес. Морда у него была в репьях, и пес, немного полаяв, начинал тереть морду лапой, отдирая колючки.

На крыльцо вышел кривоногий человек в рыжих кудряшках. От него издали разило луком. Рыжий равнодушно посмотрел на коляску, на Чайковского и сказал, что Трощенко только что уехал на порубку.

– А вам он на что понадобился? – недовольно спросил рыжий. – Я ихний управитель.

Чайковский не ответил, дотронулся до спины кучера. Лошади с места взяли рысью. Рыжий посмотрел вслед коляске, длинно сплюнул:

– Дворяне! Разговаривать брезгуют. Много мы таких пустили по миру, с пустым карманом!

По дороге обогнали лесорубов. Они шли с топорами, с гнувшимися на плечах синеватыми пилами. Лесорубы попросили закурить и сказали, что Трощенко недалеко, на пятом квартале.

Около пятого квартала Чайковский остановил коляску, вышел и направился в ту сторону, где слышались голоса.

Трощенко, в сапогах и шляпе, которую звали «здравствуй и прощай», – шлеме из люфы* с двумя козырьками, спереди и сзади, – ходил по лесу и сам метил топором сосны.

Чайковский подошел, назвал себя. Трощенко спросил:

– Чем могу служить?

Чайковский коротко изложил свое предложение – перепродать ему на корню весь этот лес.

– Желаете округлить владения? – ласково спросил Трощенко. – Этому лесу цены нету. Слышите? – Трощенко ударил обухом топора по сосне. – Поет древесина! А насчет ваших слов надо подумать. Своего рода неожиданность. Все дело, как сами понимаете, в цене. За свою цену я вам отдать не могу. Смысла нету. К тому же расходы. Одних лесорубов привезти да прокормить чего стоит! Ну и начальство нам, лесопромышленникам, недешево обходится. Начальство вроде магнита – золото сильно притягивает.

– Назовите вашу цену. Торговаться я не собираюсь. Если цена будет сходная...

– Где вам торговаться! Вы человек возвышенных сфер жизни. Я вам верную цену скажу... – Трощенко помолчал. – Десять тысяч будет, пожалуй, самая цена.

– А за сколько вы купили этот лес?

– Это дело десятое. Мой товар – моя и цена.

– Хорошо! – сказал Чайковский и почувствовал холодок под сердцем, будто поставил на карту всю жизнь. – Я согласен.

– Что-то больно легко соглашаетесь, – промолвил Трощенко и протянул Чайковскому деревянный портсигар. – Прошу!

– Спасибо. Только что курил.

– Деньги-то у вас есть? – вдруг грубо спросил Трощенко.

– Будут.

– Царствие Божие тоже будет. Когда помрем. Я о наличных деньгах спрашиваю.

– Я вам выдам вексель.

– Подо что? Под эту усадьбу? Да ей две тысячи – красная цена!

– Усадьба эта не моя. Вексель я выдам под свои сочинения.

– Так-с!.. – протянул Трощенко и закурил. – Под музыку!.. Ее послушать, конечно, приятно. Послушал – ушел, а следа-то и нету! – Он протянул к Чайковскому ладонь и поскреб по ней скрюченными пальцами. – Воздушная вещь. Сегодня она, может, и в цене, а завтра – дым! Векселя я, извините, не беру. Только наличными.

– Наличных сейчас у меня нет.

– На нет и суда нет! И опять же о цене был у нас весьма примерный разговор.

– То есть как? Вы же назначили цену!

– Обследовать еще надо. Лес обследовать. По-настоящему его оценить. Да, пожалуй, и несерьезное это дело. Кто же так договаривается – на ходу!.. Нет! – сказал он резко. – Пустой разговор! Ежели бы вот завтра вы мне выложили пятнадцать тысяч, тогда бы я отступился.

– Да вы что, – сказал Чайковский, и лицо его опять пошло красными пятнами, – в своем уме?

– Мой ум всегда при мне. Я не в эмпиреях* живу.

– Вы просто маклак*!

– Тогда нечего вам с маклаком и разговаривать! – огрызнулся Трощенко. – Жили мы маклаками и умрем маклаками, зато в чести и достатке. У нас не благородством шубы подбиты. Честь имею кланяться!

Он приподнял шляпу и зашагал в глубину леса.

«Всегда я так! – подумал Чайковский. – Вспылю, наговорю резкостей и сорву все дело».

Он поехал домой, стараясь не вслушиваться в разносившийся по лесу стук топоров.

Лошади вынесли коляску на поляну. Кто-то впереди предостерегающе закричал. Кучер с ходу осадил лошадей.

Чайковский встал, схватился за плечо кучера. От подножия сосны, согнувшись, как воры, разбегались лесорубы.

Внезапно вся сосна, от корней до вершины, вздрогнула и застонала. Чайковский явственно слышал этот стон. Вершина сосны качнулась, дерево начало медленно клониться к дороге и вдруг рухнуло, круша соседние сосны, ломая березы. С тяжелым гулом сосна ударилась о землю, затрепетала всей хвоей и замерла. Лошади попятились и захрапели.

Это был миг, один только страшный миг смерти могучего дерева, жившего здесь двести лет. Чайковский стиснул зубы.

Вершина сосны загородила дорогу. Проехать было нельзя.

– Придется ворочаться на большак, Петр Ильич, – сказал кучер.

– Езжай! Я пешком пройду.

– Эх, обормоты!.. – вздохнул кучер, подбирая вожжи. – Рубить и то по-людски не умеют. Нешто дело – валить сначала большие деревья, а малые ломать в щепки? Ты сначала малые повали, тогда большое в просторе ляжет, убытку не даст...

Чайковский подошел к вершине поваленной сосны. Она лежала горой сочной и темной хвои. На хвое еще сохранился блеск, свойственный тем воздушным просторам, где эта хвоя только что дрожала под ветерком. Толстые сломанные ветки, покрытые прозрачно-желтоватой пленкой, были полны смолы. От ее запаха першило в горле.

Тут же лежали обломанные сосной ветки берез. Чайковский вспомнил, как березы пытались удержать падающую сосну, принять ее на свои гибкие стволы, чтобы смягчить смертельное падение, – от него далеко окрест дрогнула земля.

Он быстро пошел домой. То справа, то слева, то позади слышался гул падающих стволов. И все так же тупо ухала земля. Птицы металась над порубкой. Даже облака, казалось, ускорили свой бег в равнодушной ко всему небесной синеве.



Чайковский все ускорял шаги. Он почти бежал.

– Подлость! – бормотал он. – Мерзость чудовищная! Кто дал право человеку калечить и безобразить землю ради того, чтобы какой-то Трощенко слюнявил по ночам ассигнации? Есть вещи, которые не оценить ни рублями, ни миллиардами рублей. Неужели так трудно понять там, в Петербурге, этим многомудрым государственным мужам, что могущество страны – не в одном материальном богатстве, но и в душе народа! Чем шире, свободнее эта душа, тем большего величия и силы достигает государство. А что воспитывает широту духа, как не эта удивительная природа! Ее нужно беречь, как мы бережем самую жизнь человека. Потомки никогда не простят нам опустошения земли, надругательства над тем, что по праву принадлежит не только нам, но и им. Вот они где, «промотавшиеся отцы»*!..

Чайковский задыхался. Он уже не мог идти быстро. В груди возникала приступами обморочная пустота. После нее начинало так крепко стучать сердце, что удары его больно отдавались в висках. Он подумал, что и гибель леса, и бессонная ночь – все это состарило его сразу на несколько лет.

Значит, теперь он уже никогда не окончит начатую вчера работу. Придется тотчас уехать, чтобы не видеть этого варварства.

Наступила разлука с любимыми местами. Знакомое состояние! Почему любимые места, когда с ними надо расставаться, бывают особенно хороши? Почему они сияют такой прощальной красотой? Вот и сейчас все было необыкновенным. И небо, и воздух, и мокрая от росы трава, и одинокая паутина в синеве.

Еще вчера он мог остановиться, спокойно следить за полетом паутины и гадать, зацепится ли она за ветку березы или нет. А сегодня это уже невозможно. Нет покоя – значит, нет радости. Нет ничего.

Дома он приказал слуге укладывать чемоданы.

Слуга сразу ожил:

– В Москву, Петр Ильич?

– Пока в Москву. А там будет видно.

Взглянув на расплывшееся от счастья лицо слуги, он нахмурился, прошел в маленький зал, сел к роялю. Значит, так! Значит, харьковский купец в скрипучих сапогах, наглый, распоясавшийся маклак, безнаказанно пакостит земле. И начатая симфония умерла, не успев

расцвести. Он усмехнулся. «Не расцвел – и отцвел в утре пасмурных дней...»* А там, в сознании, где вчера еще было столько звуков, осталась одна пустота. Какой-то барышник выгнал его из этих удивительных мест, поднял руку на его работу. Впереди опять скитальчество, одиночество. Опять жизнь, как сплошная гостиница, где за всё: равнодушную заботу, относительный покой, возможность создавать свои вещи – надо платить в срок и по дорогим счетам.

Он откинул крышку рояля, взял аккорд и поморщился: одна клавиша не звучала. Очевидно, ночью лопнула струна.

Он резко – резче, чем следовало, – захлопнул крышку, встал и вышел.

А к вечеру снова пришел Василий. Дом был заперт, пуст. Василий походил вокруг, заглянул через окно в маленький зал: никого! И сторожиха, должно, обрадовалась, что барин уехал, подалась на деревню к сыну.

– Та-а-ак! – сказал Василий, присел на ступеньки крыльца, закурил.

Ухала и сотрясалась земля: Трощенко валил лес без усталости, без срока.

«Вот господин хороший хотел правды добиться, да рука, видать, не сильна, – подумал Василий. – Отступился. Улетел. А мне здесь жить одному, в разорении».

Василий поднял голову. Кто-то шел к дому по дороге. Уже смеркалось, и Василий сначала не мог разобрать, кто идет. А когда увидел, встал, одернул рубаху и шагнул навстречу Трощенко.

– Хозяин здесь?

– А тебе чего? – глухо спросил Василий. – Чего надо? Остатний лес хочешь скупить? Свести под корень?

– Ты хозяина позови. У меня с ним разговор, не с тобой.

– Я этих мест хозяин! Я! Не понимаешь, анафема? Так я тебе и втолковать могу!

– Ты что, очумел?

– Уйди от греха! – тихо сказал Василий и замахнулся на Трощенко. – Нашелся распорядитель! Волчья сыть! Кровосос!

– Ты не того... – пробормотал Трощенко. – Не очень... Болван!

Трощенко повернулся и торопливо пошел прочь. Василий тяжело поглядел ему вслед, выругался, сплюнул.

За свежей порубкой, за навалом сосен открывалась тусклая предвечерняя даль. Над ней низко висело багровое солнце.

Мечтательница

Месяц назад Анфиса окончила десятилетку. Будущее было еще неясно. Отец, Николай Никитич, хотел, чтобы Анфиса уехала в Москву и поступила в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию; Анфиса же думала совсем о другом – еще туманном, но привлекательном: о театре, путешествиях...

Начитавшись книг, она часто представляла себя в какой-то чудесной стране.

Она совершенно ясно видела, как сходит с парохода на берег этой страны ранним утром, оставляет на сыром песке следы и в каждом из них прячется маленькая синяя тень, потому что солнце только что взошло и свет его косо падает на землю. А вдали дымятся кручи сиреневых гор, и с них с шумом летят, разбиваясь в пыль, холодные водопады.

Чуть не каждый день Анфиса ходила в городскую библиотеку менять книги. Библиотека помещалась на главной улице городка, рядом с новым кино. Она занимала нижний этаж кирпичного дома. Здесь пахло чернилами. Крашеные полы были тусклы, истерты. На стене висели правила для посетителей и стенная газета, раскрашенная цветными карандашами.

Все это наводило скуку, но впечатление это было обманчивым. Анфиса знала, что на библиотечных полках запрятаны такие сокровища мысли и поэзии, что от одного представления о них у нее темнели глаза.

Она читала книги запоем, глотала страницу за страницей, прячась в отцовском саду, в темной беседке, похожей на шалаш и увитой диким виноградом.

– Анфиса, глаза испортишь! – кричал из сада Николай Никитич; он весь день возился со своими яблонями и сливами.

– Сейчас, – невнятно отвечала Анфиса. – Только дочитаю до новой главы.

– Да ты мне вовсе и не нужна, – примирительно говорил Николай Никитич. – Дурочка! Глаза бы свои пожалела. Выцветут и будут как оловянные плошки.

Но как ни боялся Николай Никитич, а глаза у Анфисы от чтения не только не выцвели, а, наоборот, от каждой интересной книги то наполнялись слезами и от этого становились блестящими и темными, то смеялись, то становились туманными, ничего не видящими вблизи, будто Анфиса вглядывалась во что-то далекое, ускользающее за краем земли.

«Мечтательница, – думал Николай Никитич. – Ох и хлебнет же она горя в жизни! Подумать страшно. Ох и хлебнет!»

Николай Никитич был обеспокоен будущим Анфисы и однажды пошел посоветоваться об этом к Нине Порфирьевне Евсеевой – городскому врачу, женщине пожилой, решительной и лишенной каких бы то ни было сантиментов.

Николай Никитич был старый садовод, человек, как он думал сам о себе, «практической складки». Ему хотелось уберечь Анфису от всего легковесного в жизни. А легковесным он считал ее стремление стать актрисой и увлечение стихами и романами. Все это казалось ему слишком пестрым, нарядным и быстро увядающим, как иные цветы, что осыпаются, не успев толком расцвести. Например, мак. Чуть подует ветерок – и его лепестки уже сваливаются на землю. А глядишь, через какой-нибудь час они уже пожухли и валяются в пыли под забором. Ну конечно, что говорить – внешность у Анфисы театральная: девушка стройная, тонкая, да и голос такой, что берет за душу. И косы до самой земли. Но не в этом же дело.

– Непонятно мне, – сказал Николай Никитич Нине Порфирьевне, – в кого Анфиса вышла. Мать у нее была домовитая, а я человек здравых мнений. Люблю ту человеческую деятельность, которая дает осязательный результат.

– В вас она и вышла! – сердито ответила Нина Порфирьевна.

– То есть как это? Не понимаю, – удивился Николай Никитич. – Я садовод, хочу и из нее садовода сделать, а она упирается. Заладила одно: в театр да в театр. А что в нем проку, в театре? Людей только тешить!

– Садовод-то вы садовод, – возразила Нина Порфирьевна, – а цветы-то зачем разводите? Полон сад цветов. Вот и сейчас мне букет принесли чудесный.

– Это для услаждения глаз, – неуверенно объяснил Николай Никитич. – Вы поглядите на эти кодеры – от красного до голубого и золотистого. Редчайший цветок!

– Как называется? – строго спросила Нина Порфирьевна, разглядывая крупные и такие легкие цветы, что они трепетали от ветерка, проникавшего из сада в кабинет Нины Порфирьевны.

– Немезия. Африканский цветок. Я его прямо вымолил у одного старика цветовода, когда был в Москве. В ногах валялся. Вы поглядите хотя бы на этот лепесток. Голубой цвет переходит в фиолетовый, а фиолетовый в багряный.

– А какой же осязательный результат? – неожиданно спросила Нина Порфирьевна.

Николай Никитич растерялся:

– Не пойму, чего спрашиваете?

– Результат, говорю, какой от этих цветов? Вы же их не на продажу растите?

– В жизни ни единого цветка не продал! – торжественно ответил Николай Никитич. – Только дарю.

– Эх вы! – сказала Нина Порфирьевна и сняла пенсне. Тотчас глаза ее потеряли строгость и сделались усталыми и добрыми. – Гордитесь, что подружились с композитором Аренским*, когда он здесь жил, а от искусства требует немедленного практического результата! Искусство создает хороших людей, формирует человеческую душу. Для этого оно и существует.

– Так то искусство... – робко возразил Николай Никитич.

– А театр – не искусство? – спросила Нина Порфирьевна. – Как вы думаете?.. Анфиса правильно выбрала дорогу. Вы ей не мешайте. Я зайду как-нибудь вечером, поговорю с ней.

Николай Никитич ушел не очень успокоенный.

Были уже сумерки. В городке зажигались огни, но гораздо ярче фонарей освещал тихие улицы свет ламп из открытых окон.

В доме у Николая Никитича было темно. «Ушла Анфиса, что ли?» – подумал он. Поохал, зажег фонарь и пошел в сад; надо было подставить подпорки под старую яблоню.

В саду сидела на скамейке Анфиса. Сидела так тихо, что Николай Никитич сразу ее и не заметил, а когда заметил, то испугался: сидит как неживая, сгорбилась, кутается в платок.

Николай Никитич подошел, сел рядом. Анфиса молчала.

– Что ты, дочка? – спросил Николай Никитич и положил руку на плечо Анфисе. – Никак, заболела?

– Нет, – ответила Анфиса и ту же закуталась в платок.

– Что ж ты сидишь в темноте?

Анфиса повернулась к Николаю Никитичу и посмотрела ему в глаза. Фонарь стоял на земле, освещал снизу лицо Анфисы. Николай Никитич нахмурился. Что-то блеснуло на щеке у Анфисы, тусклым огоньком поползло по щеке и, погаснув, упало в темноту на песчаную дорожку.

– Что с тобой? – тихо сказал Николай Никитич. – Что это ты плачешь?

– Папа! – Анфиса обняла Николая Никитича за морщинистую шею, прижалась к плечу. – Старичок ты мой милый!

– Ну что ты... – растерянно бормотал Николай Никитич. – Полюбила кого-нибудь, что ли? Или скучно тебе?

Анфиса покачала головой:

– Нет, не полюбила. Я много хорошего сделать могу, папа. Много. Для всех. Я знаю свою силу. Отпусти меня в театральную школу, папа! Никогда не раскаешься.

– Поживем – увидим, – ответил Николай Никитич. – Не завтра же ехать, а к осени.

Сердце у него похолодело. Ясно: надо будет отпустить. Но как же он будет тут жить и копать в саду без Анфисы? Уж лучше бросить все, уехать вместе с ней и жить там, в Москве.

– Непонятная нынче молодежь... – тихо сказал Николай Никитич.

Анфиса крепче прижалась к нему.

– Брось, дурочка, – сказал Николай Никитич строгим голосом, но голова у него затряслась. – Может, и я с тобой поеду.

Но Анфиса долго не могла успокоиться. Только когда из-за реки подул ветер и стало холодно, она встала и, крепко держась за Николая Никитича, пошла с ним в дом: надо было собрать старику ужин.

Разговоры за чайным столом

Когда поезд, лениво постукивая на стыках, проходил по мосту над рекой, Коля Евсеев, студент Лесного института, бросился к окну. С моста лучше всего был виден родной городок. В нем Коля не был уже около трех лет.

Первое, что он увидел, – это стадо коров. Они стояли по брюхо в воде и, задумавшись, жевали жвачку. На берегу лежал пастух и, закинув руки за голову, смотрел на небо. Он не обратил на поезд никакого внимания.

Позади пастуха поднимались крутые бугры, а на них врассыпную стояли дома. Почти все дома были одинаковые: первый этаж кирпичный, а второй деревянный. За кружевными занавесками цвели в вазонах комнатные цветы. Протертые стекла блестели от солнца.

Недаром про этот городок ходила поговорка: «Ливны своими хоромами дивны». Городские хозяйки из всех сил поддерживали чистоту в домах. Они гордились этим перед жителями пригородной Стрелецкой слободы. В слободе ни порядка, ни чистоты покои веков не было. Слободские всегда жили «по-цыгански».

Городок показался Коле после жизни в Ленинграде³ очень маленьким, чуть выцветшим, но воздух был чистый, яркий, и далеко были видны из окон вагона золотые подсолнухи в огородах.

На вокзале, где слободские женщины набивались с вишней-скороспелкой и солеными огурцами, Колю встретила мать, Нина Порфирьевна, седая, решительная, в пенсне.

Доктора Нину Порфирьевну знал не только весь город, но и весь район. Многим великовозрастным людям она, по старой привычке, говорила «ты», так как лечила их еще в те времена, когда они были совсем «клопами» – мальчишками и девочками.

Нина Порфирьевна крепко поцеловала Колю, сняла пенсне, вытерла покрасневшие близорукие глаза и сказала парнишке с кнутом, что стоял рядом и с восхищением глядел на Колю:

– Ну вот, Кузя, дождался. Посмотрел, какие из себя ленинградские?

Кузя покраснел и невнятно ответил:

– Да уж посмотрел...

– Тащи вещи на таратайку*.

Таратайка запрыгала по булыжной мостовой. Мостовая была горбатая, и таратайка ехала боком, будто хотела повернуть обратно к вокзалу, несмотря на то что гнедые лошадки бежали шустро и старались тащить таратайку вперед.

Коля засмеялся, а Нина Порфирьевна сказала:

– Драндулет! На нем еще твой дед ездил по больным. А все держится. Ну ничего, осенью дадут мне машину, «эмку»*.

Нина Порфирьевна очень радовалась, что Коля наконец-то приехал. Помог случай. Местность вокруг городка была известна на весь Союз обилием оврагов. С каждым годом они отхватывали куски полей, разрушали дороги, и то и дело приходилось строить новые мосты вместо обвалившихся старых.

Как говорили, «овражность» была здесь резко выражена, и поэтому в городке открыли недавно овражно-опытную станцию.

Коле повезло: его назначили на эту станцию на летнюю практику. Если бы не это обстоятельство, то Нина Порфирьевна не увидела бы Колю и в этом году: опять бы уехал на лето в какую-нибудь глушь мерить леса.

³ Ленингра́д – название г. Санкт-Петербурга в 1924–1991 гг.

– Я уж и надежду потеряла, что ты явишься, – говорила Нина Порфирьевна. – Специальность у тебя лесная, а в наших местах от лесов остались одни ошметки. Вот, думаю, глупо как получилось! Не видать мне теперь моего Коленьки никогда. Хоть переводись в лесные края. А вышло, что и для лесного специалиста нашлась здесь работа.

В это время из-под копыт лошадей взлетела, теряя пух, черная тощая курица. Она так пронзительно закричала, что лошади шарахнулись и прижали уши. Кузя погрозил курице кнутовищем:

– Вот я тебя! Нашла где рыться, старая дура!

Нина Порфирьевна жила на выезде из городка, на крутом берегу реки. Деревянный дом, построенный еще Колиным дедом, покосился, но сад разросся.

В саду щипал траву привязанный к дереву телок с белым пятном на лбу. Увидев тарайку, он поднял голову и так уставился на лошадей, что даже позабыл отмахиваться от прилипчивых мух.

Нина Порфирьевна накормила Колю и ушла на прием в амбулаторию. Она торопилась, и потому расспросы и разговоры пришлось отложить до вечера.

Коля прошел в свою комнатку. Все в ней оставалось на прежних местах, как в тот последний день, когда он уезжал из дому. Только стало темнее от разросшейся за окнами сирени.

Коля сел к старенькому столу, начал выдвигать ящики и перебирать уже позабытые вещи: школьные тетради, коллекцию уральских камней, развинченный на части старинный телефон, альбом с почтовыми марками, высушенные листья дуба, клена, березы, каштана... Все это уже пропылилось и показалось Коле таким давнишним, старым, что он даже рассмеялся. Будто это не заветные и когда-то любимые мальчишечьи вещи, а склад рухляди скряги Плюшкина.

И вместе с тем ему было бы жаль расстаться с этими вещами. Они, конечно, утратили свою былую значительность, но он оставался благодарен им за прошлые радости, за мечты, за игру воображения, которую они в нем вызывали.

Сейчас, встретившись с ними, он долго их рассматривал, а затем тщательно сложил в ящик стола в том же порядке, в каком они лежали там уже давным-давно.

Кто знает, если бы не эти вещи, то, может быть, он никогда не выбрал бы себе то занятие, к которому теперь так пристрастился. Может быть, никогда бы не стал лесоводом. Дело это требовало особых свойств: любви к природе, романтического отношения к действительности, выносливости. Человеку, лишенному воображения, нечего было делать в этой области. Нужно было обладать и сильным воображением, и большой любовью к человеку и земле, чтобы отдать все силы рассчитанной на десятилетия работе, окончания которой ты, может быть, не увидишь.

В доме было тихо. Коля отвык от такой тишины. Он прошел в столовую, поднял крышку рояля, сильно ударил по клавише. Тотчас за окном вскрикнул петух, рывшийся на грядке с огурцами, и, не оглядываясь, помчался на сухих жилистых ногах прочь, в глубину двора.

Коля зашел на кухню. Там старая нянька Марьевна чистила самовар. Марьевна совершенно оглохла. Разговаривать с ней было невозможно.

– Как здоровье, Марьевна? – прокричал Коля.

– Шибче говори, – отозвалась Марьевна. – Шибче! Я с летошнего* года уже и грома не слышу.

Коля походил по саду. В саду жило множество муравьев, они повсюду проложили свои песчаные дорожки. Коля поглядел, как муравьи бегут друг за другом по клумбе между ползучими и сочными цветами портулака*, и позавидовал муравьям: живут среди цветов, трав, всяких листиков, в уютных древесных дуплах, но, конечно, этого не понимают. Не ценят.

Коля вернулся в дом, захватил полотенце и пошел на реку купаться.

Река сильно обмелела. Противоположный берег был весь в оврагах. Даже с этого берега было слышно, как журчат по их дну родники.

Коля начал осторожно спускаться по крутой тропке. Навстречу ему поднималась загорелая девушка в сарафане, с льняными косами, уложенными вокруг головы.

– Анфиса! – крикнул Коля. – Неужто ты?

– Я, – низким голосом ответила Анфиса и улыбнулась. – Господи, как ты вырос!.. Надолго приехал?

– На все лето. Буду работать на овражной станции.

– А я этой весной окончила школу.

Они поздоровались. Рука Анфисы была холодная от купания.

С Анфисой Коля учился в одной десятилетке. Анфиса была на два класса моложе его.

– Вот папа обрадуется! – сказала Анфиса. – Он у меня совсем стал старенький.

– А как сад?

– Беспокойство одно с садом. Вырастил яблоки новые. Назвал их в мою честь «анфис». Похоже на «анис». – Она засмеялась. – Пойдем сейчас к нам.

– Ну что ж, – согласился Коля. – Я только выкупаюсь.

– Ну иди! Я наверху подожду.

Коля сбежал на берег, разделся, но, чтобы броситься в воду, пришлось идти чуть ли не до середины реки. Коля взглянул в сторону железнодорожного моста: коровы все еще стояли в воде.

«Ну и жара, – подумал Коля. – Как хорошо, что я встретил Анфису!»

Она сидела далеко, на крутом берегу, под вязом, и красный ее сарафан пылал на солнце.

Коля выкупался и, свежий, с мокрыми волосами, вскарабкался по обрыву. Анфиса смотрела, как он легко взбирается к ней, и улыбалась.

В саду Николая Никитича, раскинутом над оврагом, среди низких и широких яблонь колебался под ветерком солнечный свет. Через полосы этого света пролетали пчелы.

Николай Никитич, уже совсем седенький, усохший, сидел на бревне в расстегнутой рубахе и подтяжках и строгал ножиком дощечку для улья. Он расцеловался с Колей, показал ему яблоню «анфис» и приказал дочери согреть самовар и накрыть под яблоней стол.

Коля еще с детства полюбил эти чаепития под деревьями за круглым дощатым столом, покрытым суровой скатертью с голубой каймой. Вместо сахара подавался сотовый мед в глиняной миске, а чай всегда был жидкий, но вкусный. На стол падали божьи коровки. На мед слетались осы. Коля давил их ножом. За это ему попадало от Нины Порфирьевны.



А какие только разговоры велись за чайным столом! Николай Никитич умел поговорить. Он многое знал – не только свое садоводство.

У себя в саду он устроил «цветочные часы». Об этих часах в городке было множество разговоров. Дело в том, что разные цветы точно раскрываются в разные часы утра и так же точно закрываются к вечеру. Николай Никитич засадил этими цветами клумбу и узнавал по ней время с ошибкой, по его словам, не больше чем на тридцать минут.

За этим же чайным столом Коля впервые услышал от Николая Никитича рассказы о Мичурине* и Докучаеве*, о дубравах – «засеках», которые росли когда-то по ту сторону реки и охранялись стрельцами – пращурами* нынешних обитателей Стрелецкой слободы.

Эта сплошная полоса лесов спасала Русь от татарских набегов. В лесах прорубали с запада на восток широкие просеки. Лес рубили, или «засекали», так, чтобы вековые дубы своими вершинами падали к югу. Получался огромный вал из частых и крепких ветвей. Через него не могли пробраться не только всадники и пешие, но даже лесные звери.

– Теперь, конечно, – говорил Николай Никитич, – засеки повырубили, и от них остались, пожалуй, одни названия. Вот, например, Козлова Засака около Ясной Поляны, где обитал Лев Николаевич Толстой.

В этом саду и решилась Колина судьба после окончания школы.

В Ливнах жил в прежние времена композитор Аренский. Николай Никитич знал его и даже с ним подружился. Однажды Николай Никитич рассказал со слов Аренского историю о том, как Чайковский хотел спасти от вырубki сосновый лес вблизи усадьбы, где он в то время жил, как ничего из этого не вышло и в каком отчаянии был знаменитый композитор.

– Вот, – говорил Аренский, – дорогой Николай Никитич, какова игра жизни! Если бы не вырубили этот лес, Чайковский, пожалуй, подарил бы нам еще одну симфонию. Лес его всегда вдохновлял чрезвычайно. А тут все сорвалось. Невольно задумаешься: какую силу оказывают на талант столь разные по значительности вещи, как лес и любовь, рожок пастуха и деревенская песня. Вот и поди разберись!

Николай Никитич соглашался, что действительно человек загорается новыми мыслями от вещей совершенно разных и на первый взгляд не имеющих отношения к предмету его занятий, или, как нынче принято выражаться, к его творчеству.

– Вот я, к примеру, – говорил Николай Никитич, – очень легко себя чувствую и получаю разнообразие мыслей, когда ловлю рыбу в нашей реке. Как будто занятие мальчишеское, а на поверку выходит, что оно и нервы успокаивает, и пищу дает для размышлений по любым вопросам, свойственным нашему уму.

Вспомнив об этом случае с Чайковским, Николай Никитич заговорил о лесах, о том, что они не только приносят великую пользу человеку, украшают и оздоравливают землю, но и поддерживают самую жизнь на земле.

В степной полосе, где был расположен родной Колин городок, лесов не было. Может быть, поэтому они всегда казались мальчику чем-то таинственным, величественным и привлекательным. А Николай Никитич еще подогревал это представление своими разговорами. Поэтому Коля, подумав, решил идти после школы в Лесной институт.

У Николая Никитича висели в доме копии с картин художника Шишкина*. И хотя Николай Никитич и говаривал, что Шишкин малость скучноват, но при долгом рассматривании эти картины все же действовали. Коля представлял себя в лесах, написанных Шишкиным, и представлял так ясно, что из этих лесов уже долетал до него запах смолистых пней и земляники.

А сейчас Николай Никитич затеял разговор о Курской магнитной аномалии. О ней в последнее время много писали в газетах.

Городок славился сильными грозами. Николай Никитич объяснял это тем, что городок расположен в области магнитной аномалии. Глубоко под землей лежат мощные залежи железной руды и притягивают грозы.

Коля улыбнулся, слушая объяснения Николая Никитича. Старик Колиной улыбки не заметил, а то бы, конечно, обиделся.

Николай Никитич обрадовался, узнав, что Коля будет работать по «овражному делу».

– Хвалю! – сказал он. – Ты выбрал чудесное занятие в жизни. А вот что с Анфисой делать, не знаю. Ей все в театр хочется, в театральную школу. Шла бы лучше по отцовским стопам. Сады бы разводила. Мало на земле растительности – от этого всякие беды. К примеру, овраги. Они по нашей области треть земли охватили за какие-нибудь сорок лет. На моей памяти. Как стали сводить лес – так и пошло!

После чая Анфиса проводила Колю. Они пошли к мостику через ручей, впадавший в реку. Ручей едва струился в темном овраге. Тропка к мостику была протоптана в высокой крапиве, и Коля обстрекал себе руки.

На мостике Анфиса остановилась:

– Ну, дальше я не пойду. Приходи к нам почаще.

Они попрощались. Анфиса медленно пошла обратно. Она несколько раз останавливалась, оглядывалась на Колю, и каждый раз случалось так, что в это же время оглядывался и Коля. Потом Анфиса помахала рукой и скрылась за поворотом.

– Прощай, Анфис! – крикнул Коля.

Но Анфиса не отозвалась.

На следующий день Коля пошел на овражную станцию и представился директору ее, Смышляеву. Это был низенький пожилой человек в желтоватых очках.

Овражная станция временно помещалась в приземистом доме на главной улице городка. Половину дома занимала аптека, половину – станция. Сотрудники станции ходили к себе через прихожую аптеки. Так им было удобнее, потому что вход на станцию был через двор, а двор всегда был заставлен телегами. Колхозники со всего района приезжали сюда за лекарствами.

Двор походил на базарную площадь – весь в конском навозе, в сенной трухе. Привязанные к телегам лошади упорно, без отдыха жевали сено и стегали себя жидкими хвостами.

Из-за этого двора происходили частые стычки с аптекарем Абрамом Борисовичем – подслеповатым, но деятельным старичком в просторном халате. Он так близко рассматривал рецепты, что казалось, будто он их не читает, а нюхает.

Когда Коля вошел, Смышляев как раз ссорился с Абрамом Борисовичем. Он разговаривал с ним через маленькую форточку, прорезанную в двери, что вела из его кабинета в аптеку. Такие форточки обычно устраивают в кассах.

– Абрам Борисович, – говорил Смышляев, – это же не постоянный двор! Надо что-то делать.

– Вы, очевидно, полагаете, – пронзительным голосом отвечал Абрам Борисович, взбалтывая склянку с мутной жидкостью и рассматривая ее одним глазом на свет, – что это образцовая аптека номер один в Москве? Где вы находитесь? Это же чернозем! – крикнул он, со стуком поставил склянку на прилавок и яростно посмотрел на молодую смешливую колхозницу, дожидавшуюся лекарства. – Вот, извольте, поглядите на эту красавицу!

Молодайка закрылась локтем и фыркнула.

– Подойди сюда! – приказал Абрам Борисович.

– Ой, батюшки, страх какой! – сказала молодая и бесстрашно подошла к прилавку.

– Вот капли, а вот полоскание! – сказал Абрам Борисович. – Смотри не напутай.

Покажи, которые капли.

– Да что показывать-то! Уж вы всегда придумаете.

– Покажи, а то не выдам лекарство!

– Неужто не выдадите? – насмешливо спросила колхозница. – Человек старый, а молодой завсегда обижаете. Хоть в аптеку не ходи.

– Вот! – сказал Абрам Борисович и победоносно посмотрел на Смышляева. – Вы, надеюсь, слышали? Странно, как я столько лет работаю при таких обстоятельствах, – он показал на смешливую колхозницу, – и еще чувствую себя нормальным человеком.

– Уж вы всегда так! – пробормотала женщина, забрала лекарство и вышла, хлопнув дверью.

За дверью она прыснула от смеха и сказала кому-то:

– Нигде, молодая, нету нам проходу из-за нашей неземной красоты.

Абрам Борисович посмотрел на Смышляева долгим, теперь уже возмущенным взглядом и сказал:

– Ну, знаете, это уже чересчур!

– Простите, Абрам Борисович, – пробормотал Смышляев, закрыл форточку в аптеку и обернулся к Коле: – Никогда раньше мне не приходилось работать в такой обстановке. Но в конце концов это соседство не мешает. Иногда даже веселит. А для работы это полезно. Как вы думаете?

Коля согласился.

– Работать полагается весело, – наставительно заметил Смышляев, – и любить те места, где работаешь. Я очень доволен, что вы родом из этого привлекательного городка. Пока что займитесь обмером оврагов около Адамовской мельницы. Определите их годовой рост и выясните уровень грунтовых вод. Я подозреваю, что там овраги уже прорезали землю до водоносного горизонта и сильно отсасывают грунтовые воды. Очень что-то быстро сохнет земля... – Смышляев помолчал. – Кого бы дать вам в подручные?

– Я сам найду помощника, – ответил Коля. – У него ведь работа будет несложная: волочить по земле цепь да держать рейку. С этим каждый мальчишка справится.

– Ну и чудно! – согласился Смышляев. Вечером Коля зашел к Николаю Никитичу.

В сумерках летало много ночных бабочек. За рекой, в Стрелецкой слободе, пели, сидя на берегу, девушки:

Спускается солнце за степи,
Вдали золотится ковыль...*

Коля сидел с Анфисой на пороге дома. Отсюда были видны весь сад, заречье и далекие поля.

Анфиса куталась в платок, хотя вечер был теплый и на яблонях не шевелился ни один листок.

– Тебе холодно? – спросил Коля.

– Нет. Это так...

– Загрустила?

– Нет... Или да. Загрустила. Вот ты уже третий год живешь в Ленинграде. А я один только раз и уезжала отсюда. В Курск. К тетке.

Они помолчали.

– Завтра начинаю работать, – сказал Коля. – Буду обмерять овраги. За Адамовской мельницей.

– Один?

– Нет. Хочу взять Кузю и еще какого-нибудь деревенского ребятенка. Они будут таскать цепь и рейку.

– Возьми вместо деревенского ребятенка меня, – предложила Анфиса. – Я справлюсь.

– Работа тяжелая.

– Я сильная. Вот, смотри! – Анфиса вытянула голую до плеча руку, казавшуюся в сумерках очень белой, потом медленно согнула ее в локте. – Потрогай!

Коля потрогал. Мускулы на руке были маленькие, но крепкие.

– Хорошо, – согласился Коля. – Заметано. Если Николай Никитич тебя отпустит.

– Отпустит.

Николай Никитич зажег в комнате лампу. Ее свет упал через окно в сад. Большой мир вдруг сузился, и от него остались только освещенный мягким светом уголок старого сада с забытой под деревом лейкой, белые пахучие звезды цветущего табака да отдаленная песня слободских девушек:

И вот повели, затанули,
Поют, заливаясь, они
Про Волги широкой раздолье,
Про даром минувшие дни...

Анфиса встала, пошла в глубину сада, остановилась над обрывом и долго стояла, слушала.

Овраги

Обмер оврагов оказался делом нелегким. Приходилось спускаться в овраги, взбираться по крутым глинистым склонам, делать большие обходы, набрасывать примерные карты.

За несколько дней Анфиса, Коля и Кузя сожглись на солнце до черноты, обветрились, пропахли полыньей и пылью.

Это были удивительные дни – под жарким солнечным светом, среди трав и полей, где пробегал по дорогам, чуть пыля, ветерок.

К вечеру все так уставали, что с трудом добирались до городка. Тогда Коля решил брать с собой из дому кое-какие продукты, и по два-три дня они не возвращались домой, а ночевали в избе у мельничного сторожа Ивана Дмитриевича, тощего и рыжего. Командовала в избе его жена – веселая старуха Давыдовна. А Иван Дмитриевич только помалкивал, вздыхал, посасывал кислые папироски и неопределенно жаловался то на сухость, то на мокроту в груди.

В избе по вечерам при свете кухонной лампочки Анфиса помогала Коле чертить примерные карты оврагов. Бывало, Коля засыпал за столом от усталости. Тогда Анфиса силой поднимала его и вела в угол избы, где для Коли и Кузи было постлано сено.

Коля сваливался на сено, тотчас засыпал, а Анфиса еще долго сидела за столом, чертила, слушала, как шумит у плотины вода. А потом, улегшись у себя в клетушке, где пахло пшеном, думала, что если Николай Никитич не отпустит ее в театральную школу, то она просто сбежит, а когда ее примут, будет просить у старика прощения.

Однажды Анфиса держала полосатую рейку, а Коля наводил на нее нивелир*. Вдруг Анфиса опустила рейку и нагнулась к земле.

– Иди сюда! – крикнула она Коле. – Смотри, что за прелесть!

Коля подошел. Анфиса стала на колени, косы ее упали, концы их лежали на траве.

Анфиса протянула руки к чему-то еще невидимому, находившемуся на земле и, должно быть, очень маленькому. Казалось, Анфиса заслоняет язычок свечи, чтобы его не задуло ветром.

– Что такое? – спросил Коля шепотом.

Анфиса подняла на него счастливые глаза:

– Лиловый сон*!

Меж ее ладоней цвели на земле покрытые густым серебряным пухом колокольчики лилового сна.

Глядя на Анфису, на ее руки и чуть приподнятые плечи, Коля подумал, что, конечно, Анфиса права, когда бредит театром. Очевидно, театр ее призвание: столько легкости и простоты было в положении ее тела, в ее движениях.

Работа увлекала Колю. Разветвления оврагов были сложны, запутанны. Это была обширная и причудливая страна обвалов, глубоких балок, рытвин, водороев, пещер, родников, крутых красноватых склонов, кое-где поросших терновником и редкой травой, но большей частью глинистых и голых. Некоторые овраги тянулись на километры.

Более жестокой картины уничтожения плодородной почвы Коля еще не встречал. Он знал, что площадь оврагов в этой полосе России настолько велика, что урожай с нее мог бы легко прокормить такую густонаселенную страну, как Бельгия. Он знал, что половина земель здесь заброшена и негодна для сельского хозяйства из-за оврагов. Сознание, что склоны этих оврагов скоро будут превращены в террасы, засажены лесом, вишневыми и яблоневыми садами и что в этом будет часть его труда, наполняло Колю гордостью.

Вскоре они добрались и до того оврага, о котором говорил Смышляев. В нем уже был вскрыт водоносный слой. Вода сочилась по склонам тонкими струйками. Она стекала на дно и немного подальше, вниз по оврагу, образовала чистое озерцо.

Они решили спуститься к этому озерцу, передохнуть на его берегу и выпить чаю.

Овраг был глубокий. Когда они очутились на дне, Анфиса посмотрела вверх, где переплывали через овраг облака, казалось задевая и покачивая на его краю сухую траву, и спросила:

– Как же мы теперь отсюда выберемся?

– Это что! – хвастливо сказал Кузя. – Тут есть такой овраг, что бросишь в него камень – и считай до двухсот, покуда тот камень доскочит до дна. Осенью там разбойники нагробленное пропивают.

– Это ты брось, – заметил Коля. – Какие теперь разбойники!

– Сам я их не видал, врать не буду, а слышать – слышал. Ехал я как-то мимо того оврага ночью. И вдруг слышу: гармошка, наша ливенка, в овраге заливается. Прямо продрало меня по спине! Я как свистнул, кони как взялись – только меня и видели те разбойники. Один свист от меня остался.

– Ну и ладно, утешайся своими разбойниками!

День выдался жаркий. От зноя все стало желтым: и небо, и поля, и воздух. Как будто зной долго крепчал, томился и наконец приобрел этот тоскливый и зловещий оттенок. Костер из сухих стеблей быстро перегорал, а чайник все не хотел закипать.

Вдалеке раздался удар без отката, будто кто-то взял на рояле, нажав педаль, басовую струну и тотчас отпустил педаль.

– Что это? – испуганно спросил Кузя. – Никак, гром?

– Не похоже на гром, – неуверенно ответил Коля. – Это орудие. Тут где-нибудь стрельбище.

– Нету тут стрельбища. Надо бы полезть наверх, поглядеть.

Кузя начал карабкаться по откосу. Сухая глина комьями сыпалась из-под его ног.

Анфиса, подкладывая в костер сухие стебли, сказала:

– Хорошо, Коля, что у тебя есть мама!

Коля удивленно посмотрел на Анфису:

– А у тебя есть отец.

– Это не то, – промолвила Анфиса. – Отцу многого не расскажешь. Не с кем мне поговорить... обо всем...

– А со мной?

Анфиса покачала головой:

– С тобой как раз и нельзя.

Коля хотел спросить ее: «Почему?» – но сверху хрипло закричал Кузя:

– Вылезайте! Гроза! Страсть какая!

– Анфиса, скорей! – быстро сказал Коля.

Он с облегчением вспомнил, что рейку и инструменты оставил наверху, на краю оврага.

Анфиса накинула на голову платок, начала торопливо его завязывать.

– Скорей! – умоляюще повторил Коля и схватил Анфису за руку.

Вдруг все померкло. Желтая пыль, сорванная с дорог и полей, завилась вверху, и в этой пыли исчез Кузя.

Коля тащил Анфису по крутому обрыву, хватался за колючий терновник, изодрал руки. Вверху уже все ревели. Взглядывая на край обрыва – далеко ли еще взбираться, – Коля один только раз увидел солнце. Но лучше бы он не видел его совсем. Оно было косматое и так дымилось, будто ветер запустил его, как волчок, с чудовищной скоростью и от солнца отрываю- тся и улетают вместе с бурей клочья мрачного пламени.

Анфиса что-то сказала. Коля взглянул на нее. Лицо у Анфисы помертвело, только глаза – темные, напряженные – смотрели вверх, где бурьян рвался из стороны в сторону, цепляясь за землю.

– Что? – спросил Коля.

– Темно... как ночь! – крикнула Анфиса. – Мы успеем... до дождя. Не волнуйся!

«Что она кричит? – подумал Коля. – Какая ночь?... Ах да!» Там, наверху, в разъяренном небе, летела тьма. Последние остатки света ветер гнал впереди урагана. В полях они были, должно быть, еще видны, эти быстро меркнущие кровавые отблески во всклокоченных далях.

Лишь бы не начался сейчас дождь! Если хлынет ливень, тогда они пропали. Глина размякнет, поползет вниз, начнет обваливаться глыбами. Они не удержатся, сорвутся на дно оврага, а там уже будет мчаться, подымаясь все выше, грязный пенистый поток. Он их захлестнет и потопит.

Коля хорошо понимал опасность, захватившую их врасплох, и полную свою беспомощность. Но вместе с тем, может быть из-за этой внезапности, он временами не верил, что опасность так велика.

«Сон это, что ли?» – подумал он и застонал от досады: на руку упала первая теплая капля дождя.

– Что ты? – крикнула Анфиса. – Это не дождь. С тебя пот льет ручьями.

Тогда только Коля сообразил, что на руку ему упала капля пота.

Склон оврага стал более пологим. Над краем его показалась растрепанная голова Кузи. Кузя протянул руку и помог Анфисе и Коле выбраться наверх.

Коля вздохнул всей грудью и взглянул в ту сторону, откуда подходила гроза. Спасены! Но он не успел ничего сказать. Небо раскололось вдребезги ветвистой струей огня. Тяжелым взрывом грохнул весь горизонт.

– Тут шалаш, землянка! – прокричал Кузя и показал в поле.

Они подхватили рейку и инструменты, побежали к шалашу, навстречу свинцовой стене ливня, и успели спрыгнуть вниз, в землянку, когда отвесно падающая вода шумела, набегая, уже рядом, в нескольких шагах.

Анфиса села на старое, перепревшее сено и закрыла глаза. Коля сел рядом с ней, несмело взял ее руку. Анфиса тихонько подышала на его пальцы, как бы стараясь приласкать и успокоить Колю.

– Какие молнии! – сказала Анфиса. – Я сижу с закрытыми глазами, а все равно слепит.

Ливень шумел, набирал силу. Запахло мокрой землей. Ветер стих, и теперь в ровный гул дождя вошел новый звук: рев и плеск потоков, мчавшихся по оврагам.

Потоки вспухали, подмывали склоны. Глина глыбами падала в воду. Вода несколько секунд переливалась через эти глыбы грязными каскадами, потом размывала их и, вертя в водоворотах, среди пузырей и пены, утонувшего черного галчонка, неслась дальше.

– Гроза будет затяжная или короткая? – неожиданно спросила Анфиса.

– Не знаю, – ответил Коля.

– А как бы ты хотел? Чтобы затяжная?

– Да!

Пусть этот проливной дождь длится хоть до утра, лишь бы сидеть здесь, в шалаше, и видеть, как уже обессиленные, медленные молнии освещают лицо Анфисы, ее темные узкие брови. А до городка можно добраться и ночью: ночь будет лунная.

Дождь стих только в сумерки. Обратно шли разувшись. Глина прилипала к ногам. От промокшей земли тянуло холодком, и Анфиса продрогла в отсыревшем платье.

В обмытой траве наперебой кричали перепела. Туча уходила на север, еще лилась там черной стеной дождя на притихшие села, еще мигала зарницами, а на юге вечернее небо уже очистилось и сияло голубоватым светом.

Они вошли в городок поздним вечером. Река тяжело шумела в крутых берегах. На улицах блестели в мураве лужи, засыпанные сломанными ветками. Городок был растрепан бурей.

Зашли сначала к Нине Порфирьевне. Ее не было дома. Марьевна сказала, что Нина Порфирьевна ушла к Николаю Никитичу.

– Зачем? – испуганно спросила Анфиса.

Марьевна виновато посмотрела на Анфису и промолчала. Она не слышала.

Анфиса повернулась и выбежала на улицу. Коля бросился за ней. Кузя не решился идти следом за ними и поплелся домой.

«Ну и наломала гроза хворосту! – подумал он, отбрасывая ногой поломанные ветки. – Должно, опять повалило мамашин забор».

Каждый раз после грозы этот забор заваливался, и Кузе уже надоело его чинить.

На главной улице Кузя увидел вывернутые дождевыми потоками огромные булыжники, заржавленные кровельные листы на мостовой и засвистел: дело было серьезное.

Старая яблоня

Дело действительно было серьезное. Когда Николай Никитич только что прилег отдохнуть, за рекой пробормотал первый гром. Николай Никитич нехотя встал. Что-то опять начала побаливать застарелая язва. Надо бы сходить к Нине Порфирьевне. Она вновь скажет, что не обойтись без операции. А какая операция, когда человеку перевалило за шестьдесят! Лучше уж так дожить, без операции, – только беречься, не поднимать тяжести, не надрываться.

Николай Никитич закрыл вьюшки* в печах, вышел на крылечко, посмотрел на тучу и покачал головой. Много он видал гроз, но эта ему особенно не понравилась. Во всю длину тучи шло, дымясь, желтое облако, похожее на грязную вату.

«Низкая гроза, – определил Николай Никитич. – Ох и будет же хлобыстать!»

Он оглянулся на город. Окна в домах хмуро поблескивали, как бы с неодобрением поглядывая на тучу. Из-за реки летели, разевая клювы, галки и прятались на чердаках. Около заборов перекликались встревоженные женщины.

За рекой, со стороны грозы, шел товарный поезд. Дым из паровоза рвался клубами вверх и казался на аспидном небе необыкновенно белым.

Николай Никитич посмотрел на сад. Его издавна тревожило одно обстоятельство: за последние три года овраг подошел к саду вплотную, в одном месте даже покосился забор. А когда Николай Никитич сажал этот сад, овраг был от забора не меньше чем в ста шагах.

«Как бы сад не подрыло!» – взволновался Николай Никитич.

Несколько раз за лето он обходил овраг, прикидывал, что бы можно сделать. И заметил, что водомоина, по которой дождевая вода стекала в овраг, проходила очень близко от другого оврага, который тянулся в сторону ручья. У Николая Никитича возник план – прокопать из водомоины канаву в этот соседний овраг, чтобы отводить туда во время ливней воду. Но было как-то совестно это делать: на краю соседнего оврага стояла чужая хибарка. Правда, в ней давно никто не жил, она была заколочена, но все-таки неудобно.

Пока Николай Никитич раздумывал над этим, туча закрыла солнце и переползла через реку. Вороватая молния опалила глаза. Хлынул ливень.

Николай Никитич попятился от порога. Ему почудилось, что в потоках воды, хлеставших с неба, мечется по саду что-то седое, будто скачут всё на одном и том же месте белые лошади.

Потом он услышал легкий треск и заметил, что забор медленно валится в сторону оврага.

– Подмывает! – крикнул Николай Никитич, нахлобучил кепку, натянул порыжелую кожаную куртку, схватил лопату и, нагибаясь под дождем, побежал через сад к водомоине.

По ней уже неслась грязная вода. Николай Никитич перепрыгнул через водомоину, упал, измазался в глине, поднялся и начал торопливо копать канаву к соседнему оврагу. Теперь, в такой проливень, никто не мог ему помешать.

Земля была вязкая, прилипала к лопате. Дело шло медленно, а до соседнего оврага оставалось еще шагов двадцать.

Вода лилась с кепки по лицу, мешала видеть. Внезапно Николай Никитич вспомнил об Анфисе и перестал копать. Ну, как ливень застанет их в поле, в этих проклятых Адамовских оврагах? Быть не может! Все-таки не дети. Где-нибудь спрячутся.

Николай Никитич провел мокрым рукавом по лицу, посмотрел на сад: забор весь уже повалился, и по ту сторону его вода размывала свежую землю.

Николай Никитич отшвырнул лопату. Он видел, как осел большой кусок земли за старой яблоней. Яблоня наклонилась, в обнаженной земле показались темные корни соседней,

молодой яблони; они старались удержать эту осевшую землю, но не осилили. Земля обрушилась, старая яблоня упала, вокруг ее вершины закипела вода, и яблоня, ныряя, показывая спутанные корни и вертясь, поплыла по оврагу. Она ударилась о берег, зацепилась, но вода оторвала ее и унесла вниз, в реку.

– Анфис! – крикнул Николай Никитич и пошел, спотыкаясь, к дому, забыв на земле лопату.

Он вошел в свою комнатенку и лег, мокрый, весь в глине, на деревянный диван. Вверху живота ощущалась острая боль. Иногда она затихала, а потом снова схватывала. Сначала слабо, потом все сильнее и сильнее, чуть не до крика, и опять затихала.

Николаю Никитичу почему-то казалось, что боль возвращается, когда вода начинает подмывать новую яблоню, усиливается, когда она выворачивает ее из земли, доходит до предела, когда с треском рвутся корни, и затихает, когда вода наконец оторвет яблоню и унесет по оврагу. Но тут же вода начинала подмывать другую яблоню, и боль возобновлялась.

Когда ливень стих, соседка Николая Никитича, Антонина Васильевна, женщина сердобольная и любопытная, заглянула в сад – посмотреть, что натворила гроза, и только всплеснула руками. Половины сада как не бывало. Тотчас за клумбой с цветочными часами начался провал.

Антонина Васильевна прошла в дом. Николай Никитич лежал на диванчике, черный, землистый. Судорога дергала его реденькую бороду.

Антонина Васильевна побежала к Нине Порфирьевне, не разбирая дороги, прямо по лужам, подобрав подол.

Когда прибежали Анфиса с Колей, в доме было пусто. Дверь была прикрыта, но не заперта на замок. Антонина Васильевна рассказала, что Николай Никитич заболел, что приходила Нина Порфирьевна, определила прободение язвы желудка и Николая Никитича тотчас увезли на операцию в больницу. Что с ним теперь, неизвестно.

В больнице было тихо. Тускло горела в коридоре лампа. Нина Порфирьевна вышла навстречу Анфисе и Коле из операционной в белом халате и шапочке, близорукими глазами строго посмотрела на Анфису, взяла ее за руку, сказала: «Пойдем сюда!» Ввела в свой кабинет и прикрыла дверь.

Коля остался в приемной. Он слышал, как вскрикнула Анфиса, хотел войти к матери, но не решился.

Появилась знакомая сиделка, кивнула Коле, достала из шкафа чистую простыню, развернула ее, прикинула длину и сказала про себя:

– Как раз по нему.

– Коля! – позвала из-за двери Нина Порфирьевна.

Она сидела на кожаном диване перед хирургическим столиком и держала за плечи Анфису. Анфиса сидела наклонившись, упершись руками в кожаный диван, косы ее упали. Одну косу она крепко зажала зубами, и Коля услышал тихий звук, похожий на стон: Анфиса сдерживалась, чтобы не разрыдаться.

– Коля, – спокойно сказала Нина Порфирьевна и показала глазами на Анфису, – пожалуйста, проводи Анфису к нам домой. Посмотри за ней... – Нина Порфирьевна помолчала. – Теперь Анфиса будет жить у нас.

– Не надо! – прошептала Анфиса, затрясла головой, но тотчас обняла Нину Порфирьевну за шею и прижалась к ней.

– Ну, ничего... – Нина Порфирьевна сняла пенсне и пригладила Анфисины волосы. – Ты же взрослая, сама все понимаешь. Утешать тебя я не буду. Для меня и для Коли ты родной человек. И мы, я думаю, для тебя тоже не чужие. Правда?

Анфиса не ответила, только крепче прижалась к Нине Порфирьевне.

Дома Коля сначала не знал, что делать, чтобы успокоить Анфису, но потом понял, что чем сильнее она будет плакать, тем для нее легче.

Коля ждал Нину Порфирьевну, но она все не шла. Анфиса, измучившись от слез, затихла в уголке дивана. Коля укрыл ее пледом, погасил лампу и вышел. Он сел в соседней комнате так, чтобы видеть за открытой дверью Анфису, и просидел почти до рассвета, до возвращения Нины Порфирьевны.

Хоронили Николая Никитича через день. Перед похоронами Анфиса пошла в размытый сад. Стараясь не глядеть на свежий обвал, она срезала все цветы с клумбы, где были цветочные часы, и принесла их на кладбище.

День похорон выдался пасмурный, теплый.

После похорон Нина Порфирьевна пригласила Смышляева и Абрама Борисовича выпить чаю. Оба охотно согласились. По дороге Смышляев сказал:

– Много я испытал, но такой грозы еще не видел.

– Я хотя и привык, – добавил Абрам Борисович, – но, между прочим, каждый раз волнуясь.

– Народ наш – мечтатель, – заметил Смышляев. – Вся история это доказывает. Возьмите переселенцев на Белые Воды, сказание о Китеже, все эти поиски справедливости и счастья – от Разина до наших дней, до революции. Вот, к примеру, Николай Никитич. Тоже ведь человек своей мечты. Овраги его погубили. Может быть, и к лучшему, что он умер. Трудно было бы ему пережить гибель сада.



– Дело всей жизни!.. – вздохнул Абрам Борисович.

– Да, овраги... – задумчиво сказал Смышляев. – Сколько этим ливнем погубило земли! Я уже выяснил, что здесь каждый год ливни смывают в овраги пять тонн плодородной земли с гектара. Это дает недобор хлеба с каждого гектара примерно в три центнера.

– Недурно! – рассердился Абрам Борисович. – Когда же это кончится?

– Скоро. Осенью начнем засаживать склоны оврагов. Через несколько лет они превратятся в рощи. Размылов больше не будет.

– Сказка Андерсена! – пробормотал Абрам Борисович, покачал головой и сказал: – Не могу выбить из себя скептицизм.

Чай пили на веранде. По углам стояли в кадках фикусы. Сквозь плотный слой облаков белым пятном проглядывало солнце.

Анфиса отказалась от чая и пошла в сад, в беседку. Она села на скамью, смотрела на поля за рекой и вытирала набегавшие изредка слезы.

– Пусть побудет одна, – вполголоса сказала Нина Порфирьевна Коле. – Посиди с нами.

За чаем Нина Порфирьевна говорила, как она рада, что Коля пристрастился к лесному делу – самому, по ее мнению, благородному и замечательному занятию, – и спросила, почему Смышляев выбрал себе эту профессию.

– Это у меня от матушки, – ответил Смышляев. – Отец мой был слесарем на одном из московских заводов. Жили мы в Лефортове, в бараках. Кругом – мусор, пыль, ни травинки. А мать у меня из-под Вологды. Раз в два-три года она ездила к своим старикам в деревню. И меня с собой брала. Там леса. Бывало, приедем, отдохнем, потом мать наденет сарафан, заплетет косу, как девушка, и идет со мной в лес. Это у нее было как праздник. Сядет на полянке, перебирает стебельки, а сама смеется. Приходила в лес прямо как на свидание с любимым. С тех пор у меня особенное отношение к лесу. Я считаю, что лес – прекрасное выражение силы природы и самый ясный образчик ее совершенства.

Коля слушал плохо. Он все поглядывал в сад, где среди листвы виднелось черное платье Анфисы. Сейчас Анфиса казалась Коле необыкновенно печальной и прекрасной.

Коля ощущал присутствие Анфисы у себя в доме как нечто неправдоподобное. Страшно было подумать, что может наступить время, когда в комнатах уже не раздастся ее голос, не заскрипят ступеньки под ее ногами.

Просьпаясь по ночам, Коля напрягал слух, будто мог услышать за стеной Анфисино дыхание. Он поворачивался к окну и смотрел на небо. Одни и те же звезды светили в комнату и к нему и к Анфисе, и в этих звездах было не передаваемое никакими словами спокойствие ночи.

Речные фонари

Писатель Леонтьев только что возвратился в Ленинград после десяти дней, проведенных на охоте в глухих болотистых лесах около устья Свири. Он вдоволь надышался резким и холодным воздухом непролазных дебрей, продымился у костров и весь еще был во власти недавно пережитой тишины. Отсюда, из Ленинграда, она казалась неправдоподобной. Разная бывает тишина, но безмолвие тамошних лесов было, как казалось Леонтьеву, абсолютным.

Каждый звук, врывавшийся в это безмолвие, тотчас давал толчок воображению – будь то отдаленный гудок озерного парохода, или крик ястреба, или выстрел.

Особенно привлекали Леонтьева гудки пароходов. Он нарочно пошел к берегу Ладожского озера, чтобы посмотреть на пароходы, хотя это было очень далеко от той деревни, где он обосновался.

Вышел он на берег озера к концу весеннего дня, когда день уже меркнул и переходил в северную ночь. Все было чисто и невесомо: и песчаный берег, и гладь воды, и мгла, порождаемая каждым открытым пространством. По озеру шел пароход, и Леонтьев долго смотрел на его легкий корпус и на зажженные, несмотря на белую ночь, фонари.

Там, в этой лесистой и почти безлюдной местности, Леонтьев еще раз понял, что всю жизнь писал не то, что мог бы написать. Всю жизнь он мучился тем, что не в состоянии был с полной силой выразить себя, мучился сознанием, что может и должен написать замечательные и нужные людям вещи. Но каждая написанная книга, как только он ее заканчивал, казалась ничтожной, неудавшейся и непоправимо испорченной.

Он ругал себя за то, что у него хватало сил только на хорошие замыслы, но не доставало упорства, чтобы их выполнить.

Первое время после возвращения в Ленинград Леонтьев никак не мог усидеть в своей холостяцкой квартире. Его все тянуло на воздух, наружу, к Неве. Счастье его, что он жил именно в Ленинграде, где природа входила в самый город и сливалась с площадями, фронтонами зданий, набережными, с самим воздухом и перспективой ленинградских улиц.

Вот и сейчас Леонтьев бродил вечером по городу и думал о множестве разнообразных вещей.

Сначала он, конечно, в какой уж раз, изругал себя за то, что ленив и никогда не пишет книги во весь голос. Всегда они у него идут по «затухающей кривой». Это были неприятные мысли, и Леонтьев постарался поскорей от них избавиться.

Была поздняя весна, и чувство этой весны, завладевшей городом, и ожидание длинного лета было таким радостным, что Леонтьев скоро успокоился.

Он долго стоял на набережной, но смотрел не на Неву, а поверх нее, на тонущие в световой дымке строгие здания, на свет зари и на самое прекрасное, что украшало каждую ночь, – прозрачную, как капля воды, звезду, горевшую над купами темной зелени.

В небе прошел на большой высоте самолет и оставил после себя снежную полосу. Она долго не таяла. Она будто тянулась от шпиля Михайловского замка к этой звезде и казалась воздушной тропой, ведущей в мировое пространство.

Леонтьев всегда испытывал необъяснимую грусть, когда становился свидетелем чего-либо простого и прекрасного. Грусть эта пришла к нему и сейчас. Стараясь отыскать ее причину, он внезапно понял, что это не грусть, а какое-то необычное – очень светлое и плодотворное – состояние. Только по косности своей мы называем его грустью, не желая тратить силы и время, чтобы в нем разобраться. А разобраться бы надо давно.

Потом он подумал, что есть особая прелесть как раз в таких вот неясных человеческих состояниях. Из них-то и рождается поэзия.

Вот весна. В памяти возникают давно прочитанные слова. Вскоре они уже поют все настойчивее, их уже невозможно, нельзя позабыть, они утверждают свою власть над человеком и входят в его жизнь, как входит сама весна:

Ты, счастье! Ты, радость прежних лет!
Весна моей мечты далекой!*

Прозаик – по самой своей сути человек медлительный, обстоятельный и простой. Поэзию же Леонтьев считал волшебством. Поэтам он завидовал и не устал восхищаться их способностью всегда по-новому – неожиданно и броско – передавать давно знакомые ощущения.

Леонтьев медленно пошел через Петроградскую сторону. На северо-западе никак не могла погаснуть заря, а на востоке ее уже сменяла другая. Он, усмехаясь, думал, что вот идет навстречу заре, навстречу какой-то новой жизни, и это выражение «навстречу заре» вовсе не затасканная, старая метафора. Если взглянуть в чистоту неба, в его золотизну, то невольно начнешь волноваться, как будто впереди и вправду тебя ждет счастье. Это счастье скрыто и в прозрачности ночи, и в огнях речных фонарей, и в том, что где-то высоко, на четвертом этаже, слышен из открытого окна детский смех.

«Черт возьми! – подумал Леонтьев. – Как бы это все же собрать воедино свои мысли и привести их в полную ясность?!»

Единственное, что он сейчас ощущал, – это волнение, вызванное быстро меняющимися мыслями. Но в этих мыслях было что-то одно, главное, чего он еще не мог уловить, выразить словами.

Он знал, что в ту минуту, когда весь этот хаос как будто мимолетных мыслей и впечатлений станет совершенно отчетливым, наступит время писать. Наступит та жажда писать, когда каждая потерянная минута кажется катастрофой. Тогда весь этот поток разрозненных мыслей войдет в гранитные, строгие берега повествования.

Удивительнее всего, что окружающее было под стать этой ночи с ее сумрачным блеском: и тусклый отсвет адмиралтейской иглы, и слабый огонь зари в окнах, и приглушенные голоса, и даже внешность людей.

Вот прошел старик без шляпы, с заложенными за спину руками – известный ученый; остановился на берегу и долго смотрел на черные грузные баржи, стоявшие на якоре на Большой Невке. Он, должно быть, удивлялся тому, что баржи эти, сделанные из тяжелого темного дерева, казались сейчас, в свете ночи, совершенно невесомыми. Или вот девушка в темном скромном платье. Она сидит на каменном спуске к воде и, низко нагнувшись, читает при последнем, иссякающем свете какую-то книгу.

«Что она читает?» – подумал Леонтьев, остановился, хотел спросить об этом девушку, но та обернулась, посмотрела на Леонтьева раздосадованными глазами – такими большими, что вокруг блестящего зрачка был виден нежный белок, – и захлопнула книгу. Спрашивать не пришлось – на обложке Леонтьев прочел: «Алексей Толстой. Хождение по мукам». Девушка поднялась, пошла по набережной, и Леонтьев, глядя ей вслед, увидел, что это совсем еще юное существо – тоненькое, со слабыми плечиками и детскими косами.

Всю ночь Леонтьев бродил по островам, долго сидел на бонах* лодочной станции. Быстрое течение на Невке перебирало и расчесывало зеленые нити водорослей. Стало холодно. Туман серыми струйками начал осторожно выползать из садов и стлаться по воде. Никого вокруг не было.

И тут наконец Леонтьев понял, что все эти его такие разрозненные мысли, по существу, являются мыслями о Родине и о нем самом как частице многомиллионного народа, частице

своей страны. Ленинград был одним из лучших ее выражений, и все в нем, до последней мелочи, говорило о прошлом, о настоящем и будущем России.

Теперь Леонтьеву стало ясным, о чем он будет писать, – о России. Она сейчас представлялась ему обширным миром поэзии, далеко еще не до конца исчерпанным поэтами, писателями и художниками. Да полно, можно ли эту поэзию исчерпать до дна? Конечно, нет. Но он все-таки должен добавить ко всему, что писалось о России, свой вклад, свою любовь к ней, свое ощущение эпохи – небывалой и удивительной.

Как, каким путем он это сделает? Это, в конце концов, было не так уж важно. Он твердо знал, что сделает.

Он лег на боны, зачерпнул невской воды и умыл лицо. Вода пахла водорослями и немного железом.

Леонтьев встал, вытерся носовым платком. На лицо его упал луч только что взошедшего солнца, и он улыбнулся от ощущения утренней теплоты.

Дорожная книга

Пароход сел на мель на рассвете. Он долго работал то вперед, то назад, из-под колес буграми била вода, но сняться с мели не удалось.

Ока волочила грунт на перекате* с такой силой, что было видно, как песчаное дно переливается вниз по течению.

Засели прочно. Пароход жалобно загудел, но всем было ясно, что гудеть бесполезно, и гудок вскоре затих. Оставалось ждать попутного или встречного буксира, который мог бы стащить пароход с мели. Но река была пока что пустынна.

На гудок приехал с берега бакенщик. Он божился, что только вчера над этим местом прошел буксир «Кочегар» с четырьмя баржами-нефтянками и ни разу не коснулся дна.

– Шалит река! – виновато говорил бакенщик капитану. – Несет песок бесперечь второй год. Каждый день перекаст меряю, переставляю бакены. Да за этой рекой разве угонишься! Чуть оглянулся, а она – пожалуйста! – завалила уже песком весь фарватер*.

– Нарочно в Залесье задержались, – с отчаянием сказал капитан, – чтобы проскочить этот проклятый перекаст засветло. И вот – на тебе! Проскочили!

Анфиса стояла на палубе, облокотившись о борт, и смотрела на крутой берег реки, заросший желтыми цветами. На берегу, на перевальном столбе, висели черные шары*. Около столба сидел мохнатый пес и смотрел на пароход. Каждый раз, когда Анфиса на него взглядывала, пес начинал мотать пушистым хвостом и повизгивать, но подойти к обрыву не решался.

– Твоя собака? – спросил капитан бакенщика.

– Моя. Дамка. Пароходы она уважает. Будет так вот сидеть глядеть хоть целый день. А вот моторок не любит. Прямо сипнет от злости, как их увидит. И чего ей дались те моторки, не пойму!

– Что-нибудь да есть, – сказал капитан. – Не без причины.

– Известно, не без причины! – радостно согласился бакенщик.

Он охотно соглашался со всем, что говорил капитан, лишь бы оттянуть неприятный разговор о неправильно поставленных бакенах и посадке парохода на мель. В глубине души он сам не знал, виноват ли он, что пароход сидит на мели, или нет за ним никакой вины.

Пожалуй, скорее, вины нет. Не может же он каждые два часа мерить глубину на фарватере и переставлять бакены с места на место!

Река за последние годы совсем отбилась от рук. Кто его разберет, чего в ней теперь больше – воды или песку! Вот, месяц назад, села на мель беляна* у Ближних Полян, а сейчас уже намыло вокруг нее целый остров, и с того острова мальчишки ставят закидные удочки, ловят рыбу.

– А вокруг беляны-то, той, что у Ближних Полян, небось лоза уже выросла? – спросил капитан, и бакенщик даже поежился: вот он, старый разговор.

– Это верно, выросла! – с готовностью подтвердил бакенщик, хотя знал, что никакой лозы там еще нет.

Он помолчал и наконец спросил капитана о том, что его давно и больше всего беспокоило:

– Отец мой, бывший водолив, все серчает, что происходит такое обмеление. Это, говорит, инженеры виноваты. Городить должны реку плотинами, не упускать полую воду. Правильного распределения воды, говорит, нету. Надо думать, пустые это слова.

– Почему пустые?

– Я так полагаю, что не в распределении дело, а бесперечь сохнет земля. Вода куда-то дается, шут ее знает!

– Что ты путаешь! – рассердился капитан. – Старик твой верно говорит. Воды на земле не убавилось: и дожди те же, и снега те же. А вот распределение воды в природе дурацкое. В мае размахнет разлив на десять километров, а через месяц нет воды, утки вброд переходят.

– Правильно!

– А почему такое явление? Не соображаешь? Потому что голо кругом. – Капитан кивнул на песчаные берега. – Голо! Я по этой реке плаваю уже тридцать пять лет. Что тут было раньше, забыл?

– Лес, конечно, был, – ответил неуверенно бакенщик. – Ха-а-роший лес! Семь верст до небес – и всё лесом.

– Вот то-то! Лес воду берег, притенял землю, питал реку весь год. Были бы леса – не надо нам никаких плотин. Понятно?

– Понятно, – пробормотал бакенщик.

Анфиса слушала этот разговор и думала о Коле Евсееве. Этим летом Коля проходил практику под Ленинградом, в пригородных парках. Анфиса плохо представляла, какая там может быть работа для будущего лесовода.

Зиму Анфиса прожила в Москве, училась в театральной студии. Поселилась она в студенческом общежитии на Гоголевском бульваре. Ей сразу же понравилась Москва: ее зимние туманы, огни, сутолока, театры, куда она научилась пробираться со своими подругами по пропускам, студия, где преподавание было поставлено очень интересно, жаркие, до слез, споры об искусстве, о последних спектаклях, непрерывная работа над собой, которой настойчиво добивались преподаватели, – от постановки дыхания и голоса до умения фехтовать.

«Чтобы быть хорошим актером, надо много знать, понимать и прочувствовать» – таков был закон студии. Анфиса жадно читала, бегала по музеям.

Стипендии ей не хватало, и она подрабатывала – помогала писать декорации в мастерской одного из театров. Художник был невероятно ленивый и наваливал на Анфису гораздо больше работы, чем полагалось. Анфиса очень уставала.

Но всё искупали репетиции, когда декорации впервые ставились на сцене и на них пробовали освещение. Блеск красок, свет – то багровый, то золотой, то синий, шумное отчаяние режиссера и художника, их постоянные стычки, запах олифы, звуки оркестра, тут же разучивавшего музыкальные куски, – все это нравилось Анфисе. Особенно любила она пустой и неосвещенный зрительный зал. Нигде чувство приближающегося неизбежного праздника не было так сильно, как там. Пройдет еще несколько часов, и темный этот зал преобразится, засверкает огнями, позолотой и наполнится до самого купола пением оркестра. Легкий театральный ветер будет колебать занавес, и наконец начнется спектакль – то удивительное зрелище, к которому Анфиса все еще не могла привыкнуть.

С Колей Анфиса переписывалась редко.

Коля звал ее приехать на летние каникулы в Ленинград. Анфиса уже совсем было собралась, но передумала – решила поехать со своей подругой, студийкой Татой Базилевич, на две недели на пароходе от Москвы до Казани и обратно.

«Вернусь и, если останется свободное время, поеду в Ленинград», – говорила она себе, хотя хорошо знала, что свободное время останется.

На палубу вышел плотный человек, лысоватый, загорелый, с седеющей бородкой и прищуренными спокойными глазами, – ленинградский писатель Леонтьев. Анфиса и Тата познакомились с ним, как только пароход отвалил от речного вокзала в Москве, и тотчас сдружились, хотя Леонтьев оказался великим молчальником. Говорил он редко – больше усмехался.

– Сидим? – спросил Леонтьев Анфису.

– Сидим!

– Люблю речное плавание, – хитро сказал Леонтьев. – От торопливости, говорят, жизнь сокращается.

Он сел в плетеное кресло на корме, закурил и, как всегда, углубился в чтение. Читал он все одну и ту же толстую книгу. Называлась она: «Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Настольная и дорожная книга. Среднерусская черноземная область».

Леонтьев разложил на столике карту. Отрываясь от книги, он рассматривал ее, прищурив глаз, чтобы в него не попадал дым из трубки. Изредка он делал выписки в толстую зеленую тетрадь.

Он читал и работал на палубе так же спокойно, как, должно быть, у себя в холостяцкой квартире. Ничто ему не мешало: ни разговоры пассажиров, ни вечный смех Таты Базилевич, ни остановки на пристанях, ни встречные пароходы.

Леонтьев безмолвно участвовал во всей паровой жизни. Он часто откладывал книгу и смотрел на берега. Вот на крутояре деревенские девушки наваливают на телегу сено из стогов, что-то задорно кричат вслед пароходу, и зубы их блестят на солнце. Потом стога и девушки пропадали за поворотом, и пароход гудел, сбавляя ход перед разводным мостом.

Мост торопливо разводили. Пароход проходил в узкий пролет. Пассажиры висели на бортах. Леонтьев вставал и тоже подходил к борту.

На мосту, засыпанном сухим сеном, дремали лошади, свистели в два пальца мальчишки, махали платочками девушки. Бородатый паромщик с багром в руке кричал:

– «Рылеева» не видали?

– Следом идет! – отвечали с мостика.

– Там у меня зять механиком!

– Чего?

– Зять, говорю, механиком!

– С чем вас и поздравляем, папаша! – кричали с парохода.

Паромщик неодобрительно качал головой. Пароход проходил. Волны весело били по мосту, захлестывали на него; девушки с визгом подбирали платья, лошади пятились, прядая ушами; дружно качались привязанные к мосту дощаники, и пароход, широко разворачивая за кормой пенистый след, прибавлял ход до полного.

Все успокаивалось. Леонтьев возвращался в плетеное кресло. Монотонно работала машина. С лугов доносился запах клевера. Клонило в дремоту. Леонтьев засыпал на несколько минут, а когда просыпался, за излучиной реки в слюдяной дымке полудня виднелись вершины старых верб и деревянные шесты – антенны над крышами какого-то села. И страшно высоко, оставляя в синеве перистый след, проходил над рекой самолет.

Книга «Россия», которую так медленно читал Леонтьев, заслуживала изучения.

В конце XIX века петербургский издатель Девриен начал выпускать многотомное географическое описание России. Руководил этим изданием известный географ Семенов-Тянь-Шанский. Каждый том был посвящен той или иной области страны и снабжен картами и множеством рисунков и фотографий.

Обширный этот труд был интересен тем, что, помимо общего описания каждой области, ее рек и озер, почвы, климата, растительного и животного мира, исторических судеб, быта и культуры, промыслов и занятий населения, в нем были еще подробно описаны не только все города, вплоть до самых ничтожных, «заштатных», но даже все села и деревни.

Это описание России, по мнению Леонтьева, не потеряло значения и теперь, хотя его трудолюбивые составители и отличались пристрастием к церковной старине, ярмаркам и помещичьим имениям.

Леонтьев смотрел сквозь пальцы на эти слабости авторов «России». Он находил в книге много полезного и неожиданного. В конце концов, это была первая географическая энциклопедия страны. Она давала представление о ней в те времена, когда в России осо-

бенно бурно развивалась промышленность, строились железные дороги, начиналась каменноугольная горячка в Донецких степях.

Леонтьев выписывал из книги отдельные места, сам еще не зная, пригодятся ли они ему для работы. Просто эти места казались ему интересными.

«На реке Воронеже, при вступлении этой реки в обширное лесное пространство, расположенное в трех уездах (Козловском, Липецком и Раненбургском), находится село Старая Казинка, бывшее в начале XIX века во владении помещика Ивана Герасимовича Рахманинова. Этот Рахманинов был поклонником Вольтера и переводчиком его сочинений. В 1788–1789 годах Рахманинов, будучи конногвардейским офицером, издавал журнал «Утренние часы» и завел свою типографию, которую по выходе в отставку перевез в Казинку. В 1795 году по доносу Козловского цензора типография была закрыта, а сам Рахманинов отдан под суд. Но вскоре типография и книжный склад сгорели, и Рахманинов был освобожден.

Племянник Ивана Герасимовича был замечательным ученым и профессором механики в Киевском университете.

В настоящее время семья Рахманиновых дала даровитого молодого композитора*, автора оперы „Алеко“ и ряда других произведений».

Леонтьев усмехнулся, перелистал несколько страниц и снова начал выписывать.

«В семи верстах выше устья реки Красивая Меча расположено село Троекурово, имеющее больше трех тысяч жителей, две церкви и лавки. Троекурово в конце XVII века, по свидетельству синодика*, хранящегося в Лебедянском монастыре, принадлежало князю Ивану Троекурову, спутнику юности Петра Первого. Он был назначен начальником Стрелецкого приказа и в этом качестве должен был „вершать“ разнообразные дела. Так, в 1695 году к Троекурову привели мужика, который закричал „караул“ и сказал за собой „государево слово“. Допрошенный Троекуровым, он заявил, что если ему помогут сделать крылья, как он укажет, то он будет „летать, как журавль“. Крылья были сделаны „по указу великих государей“. Мужик надел их, перекрестился и приказал раздувать крылья мехами, но подняться все-таки не смог, ссылаясь на их тяжесть, а потому бил челом Троекурову, чтобы ему позволили сделать другие крылья, которые обойдутся всего только в пять рублей. Но князь „раскручинился“, приказал бить мужика-журавля батогами, а 18 рублей казенных издержек доправить на нем, продав его имущество».

Выписав это место, Леонтьев улыбнулся: до чего чудесный народ – беспокойный, талантливый, золотые руки! Как знать: если бы дали этому мужику еще пять рублей, то, может быть, и вышел бы толк.

Чтение «Географического описания» навело Леонтьева на мысль, что пришло время выпустить такое же издание о Советском Союзе – ряд книг, где были бы описаны все области, края, все города, и старые и только что возникшие к жизни, все колхозы, села, новые железные дороги, плотины, электростанции, автострады, заводы, каналы, заповедники, огромные, созданные руками человека озера – каждый уголок страны в его новом качестве, с новой историей, с новыми людьми, с новой, созданной после революции географией русской равнины. Это не исключало бы, конечно, и описания старины, памятников искусства и всей прошлой истории этих мест.

В предисловии к тому «Среднерусской области» с гордостью перечислялись знаменитые уроженцы этой области: Баратынский, Тютчев, Лермонтов, Никитин*, Фет, Тургенев, Лев Толстой, Лесков, Белинский*, капитан Головин*, художник Крамской*, актер Щепкин*, генерал Ермолов* и многие другие.

«А мы? – думал Леонтьев. – Плохо мы еще знаем биографии наших людей. Мы могли бы продолжить этот список именами наших ученых, политических деятелей, писателей, инженеров, военных, летчиков, путешественников – уроженцев этой же области».

Леонтьев начал вспоминать: академик Павлов*, Циолковский*, Мичурин, скульптор Голубкина*, писатели Малышкин*, Новиков-Прибой*, Гайдар, Пришвин, Вересаев*, поэты Асеев*, Есенин, художник Архипов*...

Для этой работы нужно создать содружество писателей, художников и ученых. Каждый из писателей изучил бы два-три района страны, а потом их описал.

Это была работа на много лет – захватывающая, новая, значительная. Леонтьев увлекся этой мыслью, но, как человек осторожный, пока что о ней никому не рассказывал. Зимой он разработал план издания, а летом решил проехать в какой-нибудь уголок поглуше, пожить там и посмотреть, как изучение страны будет выглядеть «в натуре».

Леонтьев был страстный охотник и рыболов. Поэтому он выбрал в средней полосе России самый лесистый район, где сохранились еще девственные боры с их озерами и болотами.

Сейчас он ехал туда на пароходе, и чем дальше, тем больше эта поездка казалась ему и необходимой, и заманчивой.

Всегда его тянуло в лесные края. Леса были его страстью, его увлечением. Может быть, потому, что раннее свое детство он провел в Заволжье, в безлесных, пыльных, перегоревших от постоянной засухи землях.

Однажды вечером, сидя на корме парохода вместе с Анфисой и Татой, он вдруг разговорился и рассказал им свою жизнь.

Никогда и никому он так подробно о ней не рассказывал. Даже когда у него попросили автобиографию для энциклопедического словаря, он написал всего несколько строк:

«Происхожу из крестьян бывшей Самарской губернии. С трех лет остался сиротой. Был взят на воспитание крестьянином-бобылем. Приемный мой отец с великим трудом дал мне среднее образование. А затем – с семнадцати лет – я жил самостоятельно, работал дорожным мастером, землемером. Писать начал в двадцать два года. Сначала печатался в приволжских газетах, а потом добрался до Москвы и Ленинграда».

Теперь, на пароходе, если бы Леонтьев не увидел в руках у Анфисы книгу Мельникова-Печерского* «В лесах», он бы ничего, наверно, не рассказал. Книга эта вызвала у него воспоминания, и незаметно для себя он разговорился.

– Вы знаете, о каких лесах идет у Мельникова разговор? – спросил он Анфису. – О Керженских. В старые времена пояс дремучих лесов охватывал с севера русские степи. Теперь от него остались только острова – Черниговские леса, Брянские, Мещерские, Муромские, Керженские. В Керженских лесах народ был крепкий, строгий. Мой отчим был родом оттуда.

– А отец? – спросила Анфиса.

– Ни отца, ни матери я не помню. С трех лет остался сиротой. Жили в деревне Песчаное бывшей Самарской губернии. Взял меня к себе в избу один отставной солдат, георгиевский кавалер, бирюк и бобыль. Человек был хмурый, всем недовольный. Только и делал, что ругал мужиков за невежество. Бедняк был немыслимый. Но с воображением. Уважал науку. Говорил, что ученый человек, как дубовый клин, расколет самое вязкое полено.

– Как же он дал вам образование? – удивилась Тата.

– По крохам. Буквально вымолил. Обивал пороги. Даже в ногах валялся у попечителя учебного округа. С гордостью своей не посчитался. А старик был занозистый, прекословить себе не давал. Есть такие мужички: уж если что вобьет в голову, то ничем не выколотишь. Семью пустит по миру, последнюю коровенку продаст, в лаптях будет зиму ходить, всем осточертеет, всех изругает, шелуху от проса будет жевать, а со своего пути не сойдет. Древнее

русское упорство. Мой отчим был с Керженца. Потому и прозвище у него было на деревне Кержак. Детство, в общем, было у меня невеселое. Засухи, голод, черные бури. Кончилось тем, что вся деревня снялась и ушла на запад, за Волгу, а там разбредлись кто куда. Мы с отчимом попали в Пензу. Там он сапожничал.

– Он умер? – спросила Анфиса.

– Давно. Но первые свои рассказы я напечатал еще при нем. Он их вырезал из газет и клеил на стенку – очень гордился. Надо было съездить к нему на могилу, да вот все некогда... Да, – повторил, помолчав, Леонтьев, – невеселое было детство. Когда я появился на свет, леса в Заволжье уже давно были сведены. Остались кругом только одни сухие равнины. И гуляли по тем равнинам горячие ветры. С тех пор я ветер не люблю; прямо заболеваю, когда начинается ветер. Засухи были жестокие. Суховеи. Хлеба сохли на корню. Пух от репейника летал, бывало, целыми облаками, набивался в рот, в нос, прилипал к лицу. Оводы гудели над каждой лошаденкой и коровой тучами. Черт знает что! Даже куры сидели на земле, разинув клювы, и тяжело дышали. А вода из нашей речонки все уходила. Оставался один грязный ручеек, да и тот затаптывали ногами и копытами. И весь день висело в небе солнце – красное, страшное. Мужики как поглядят на него, сейчас же ругаются. Но хуже всего было по вечерам. Каждый вечер в полях поднимались тучи, но никогда не доходили до нашей деревни. Останавливались на горизонте, полыхали зарницами, а к утру от этих туч не оставалось и следа. Иногда только от них налетал ветер, и, помню, шумели хлеба – сухо, мертво, как жестяные.

Да... Однажды, в такую вот засуху, забрел к нам в деревню бродячий монах. Ходил он с железной кружкой, собирал на построение сгоревшего где-то в Тамбовской губернии храма. Худой был монах, носастый, и глаза такие, что прожигали насквозь. Мужики и то от его взгляда отворачивались. «Не гляди! – говорили. – И так дышать нечем». Помню, как монах все кричал: «Бога забыли! За грехи ваши Господь постановил испепелить эту землю на пять аршин* в глубину. Покайтесь! А не то задымятся хлеба – и все погибнет. Спасутся, – кричал, – только птицы небесные, улетят в те губернии, где дождик моросит, землю мочит!»

Сначала мужички наши уперлись. «Чего нам каяться! – говорят. – Грехи наши обыкновенные, всеобщие. Мы хуже других, скажем парамоновских (а Парамоново от нас в шести верстах), не грешили». А монах все кричит: мол, надо отслужить молебен о ниспослании дождя и опахать на бабах и ребятах вместо коней все село.

– Прямо Средние века! – возмутилась Тата.

– Да, – ответил Леонтьев. – Мужички наши подумали и согласились: терять-то все равно нечего. Ночью опахали село. Запрягли в соху баб и нас, нескольких ребят. Меня отчим тоже заставил. Мы волочим соху, а монах идет рядом и покрикивает: «Молимся, православные! Во избавление!» А сзади валит толпа. Пыль, пот, ночь мутная. И опять, как всегда, поднялась над полями туча. Передернуло ее бегучим огнем, и даже гром проворчал где-то за самым краем земли. Ну, бабы, конечно, на колени, бьют поклоны, крестятся. А зарницы все реже и реже. Потом взошел за этой тучей месяц, и видим мы: туча совсем прозрачная, месяц через нее просвечивает, как через сито. Тут Кержак плюнул и закричал, что никакая это не туча, а просто сбило пыль под небом, и нет там ни капли дождя.

Бросили соху, пошли в деревню, а наутро пришел из Парамонова поп с псаломщиком служить молебен о ниспослании дождя. Вышел весь народ с хоругвями* на бугор среди полей, – с того бугра в ясную погоду был виден правый берег Волги. Поп пригладил руками волосы и завел: «Миром Господу помолимся...» Кадит, искры из кадила сыплются в сухую траву, а она тлеет. Мужики и бабы приминают ее руками, с колен не встают.

Потом поп окропил крест-накрест поля святой водой. Бабы плачут, прижимают к себе ребят, просят: «Защити, батюшка! Не дай малым помереть голодной смертью!» Я тоже стою на коленках, крещусь. Вдруг слышу: хоругви захлопали, зазвенели. Смотрю: поп простер

руки с крестом к востоку, а оттуда несется черная туча. Несется прямо по земле и вся дымится. Поп говорит: «Вот, православные! Услышал Господь моления наши. Подходите ко кресту, сестры и братия». Все стоят на коленях, как окаменели, и никто к кресту не подходит. Только Кержак встал с колен и говорит попу: «Ну и намолил ты нам, батюшка, дьявола! Спасибо!»

– А что же это было? – испуганно спросила Тата.

– Погодите. Я смотрю: десятки смерчей летят перед тучей – и прямо на нас. Солнце сразу померкло, и налетел на поля пыльный ураган. Черная буря. Хоругви все расшвыряло, в двух шагах от пыли ничего не видно – и ни единой капли дождя. Только песок бьет в глаза, и жара такая, будто открыли рядом огромную печь. Все упали лицом на землю. Дышать нечем. А как только первый вихрь прошел, кто-то вскочил, кричит: «Где монах? Народ замутил, накликать беду, косматый!» Кинулись искать монаха, да где там найдешь в такой пыли и урагане! Потом рассказывали, что видел его кто-то, как он, подобрав рясу, мчался от деревни к Волге. И кружкой брякал, как коренник* бубенцом.

Тата засмеялась.

– Да!.. – вздохнул Леонтьев. – Все поля занесло песком, хлеба погорели, листва на деревьях пожухла и свернулась в трубочки. Мужики подумали – да и снялись с насиженных мест. И ушла наша деревня на правый берег Волги – искать счастья. Проклятые были места! Теперь там уж не то. Теперь наши места не узнаешь. Рассадили колхозники леса для защиты полей, повсюду пруды, свежесть...

Леонтьев замолчал и начал раскуривать трубку. Девушки тоже молчали и смотрели, как тонут во мраке тусклые перевальные огни на берегах.

«Не боги горшки обжигают!»

Пароход сел на мель вблизи того городка, куда ехал Леонтьев. Эта задержка совершенно не огорчила Леонтьева, Анфису, Тату и еще одного пассажира – молодого лесничего. Все же остальные пассажиры волновались и брюзжали.

Лесничий ехал туда же, куда и Леонтьев. У лесничего были льняные волосы, белесые ресницы, серые глаза, и ходил он в светлом, стального цвета, костюме.

Больше всех был недоволен задержкой инженер с громовым голосом, в черепаховых очках. В числе многих других инженеров он работал над проектом Большой Волги. Затягиваясь табаком и удушливо кашляя, он рассказывал о плотине через Волгу длиной в десять километров, о гигантском искусственном озере и гидростанции, и временами слушателям не верилось, что Большая Волга – реальность.

«Работа исполинов!» – думал Леонтьев.

Все пассажиры сошлись в салоне за утренним чаем. Раньше всех заняла столик суетливая старушка. Она везла в Горький⁴ к своей дочери внука – толстощекого мальчика с сонным лицом.

– Можете себе представить, – трещала старушка, – сколько у меня переживаний с этим пароходом! Я же везу ребенка. На всех пристанях я ему вынуждена покупать молоко от неизвестных коров. Если бы Соня знала, она сошла бы с ума. А эта мель меня прямо зарезала. Если мы опоздаем, то можете себе представить, что будет с Соней.

– Чего вы так волнуетесь? – заметил инженер. – Добро бы по делу ехали.

– Ну, знаете! – воскликнула старушка, и глаза ее загорелись боевым огнем. Видно, она только и ждала, чтобы вступить с кем-нибудь в перепалку. – Каждый думает, что его дело – самое важное. Ваша Волга тоже не остановится, если вы опоздаете на какой-нибудь день.

Инженер пожал плечами:

– Я совсем не собираюсь останавливать Волгу.

На палубе загудел гудок. Снизу, из-за переката, ему ответил другой, ленивый и низкий.

– Буксир! – крикнула Тата, вскочила и помчалась на палубу.

За ней поспешили остальные пассажиры. Всем было интересно посмотреть, как пароход будут стаскивать с мели.

⁴ Горький – название г. Нижнего Новгорода в 1932–1990 гг.



Только старушка не могла уйти, потому что сонный мальчик, надув щеки, со свистом высасывал из стакана молоко от неизвестной коровы. Старушка смотрела на внука колючими глазами. Но мальчик не обращал на нее внимания и после каждого глотка долго, с наслаждением отдувался.

Когда пароход сняли с мели, оказалось, что у него поломаны плицы* на колесах и погнут какой-то вал. В ближайшем городке пароход поставили на ремонт. Пассажирам объявили, что ремонт займет больше суток, и потому желающие могут пересесть на «Рылеева», который идет следом.

Почти все пассажиры перешли на «Рылеева». Леонтьев и лесничий попрощались с девушками и сошли совсем: оба они ехали только до этого городка. На пароходе остались Анфиса и Тата да еще две женщины – инженеры с текстильной фабрики.

Из затона Анфиса и Тата пошли побродить по городку. Он понравился им чистотой, садами, мощеными спусками, гостиним двором, где в прохладных лабазах висели хомуты и от них крепко пахло кожей.

Зашли в городской сад. Там целыми полями цвели анютины глазки. Обнаружили дощатый павильон, где продавали малиновое мороженое.

Когда доедали третью порцию, в павильон вошел Леонтьев. Девушки ему очень обрадовались. Леонтьев подсел к столику и заказал себе сразу пять порций: день был жаркий.

– Этот лесничий, – сказал наконец Леонтьев, заканчивая третью порцию, – совершенно замечательный человек! Предложил мне пожить у него в лесу. Отсюда тридцать километров. Через час туда пойдет грузовик. Я на него уже и вещи свои положил. Хотите поехать? Куда интереснее, чем сидеть здесь целые сутки.

– Ну как? – спросила Анфиса Тату и посмотрела на нее умоляющими глазами.

– Что – как? – ответила Тата. – Конечно, поедем. Но только если нас завтра утром подбросят обратно.

– Подбросят, – пообещал Леонтьев. – Там лес, говорят, заповедный.

– Я толком и не видела настоящего леса... – грустно призналась Анфиса. – Наша область безлесная.

– А вы откуда?

– Я из-под Курска.

Вскоре действительно подошел грузовик. Из кабины выскочил лесничий. Он был теперь уже в гимнастерке и сапогах. Сейчас только девушки узнали, что фамилия лесничего Баулин. Он, видимо, обрадовался, что Анфиса и Тата поедут в лесничество, но только забеспокоился, где их уложить на ночь.

– Да у Марии Трофимовны! – подсказал пожилой шофер. – Она в отпуск уехала. Комната ее пустая.

Машина, пыля, пронеслась через городок, потом покатила по окраинным улочкам, заросшим муравой и мелкой ромашкой.

Гуси, гогоча и переваливаясь, поспешно отходили к заборам. Конопатые босые мальчишки изо всех сил бежали вслед за машиной, но цепляться боялись. Из дворов выносились собаки и, чихая от пыли, догоняли машину, с наигранной яростью заливаясь лаем.

Анфисе нравилось здесь всё: и гуси, и мальчишки, и собаки, и глупый теленок. Он долго скакал перед машиной и отбрыкивался от нее, пока не догадался свернуть в переулок.

Потом пошли поля, задул горячий ветер, но никакого леса не было.

– Где же ваш лес? – поинтересовалась Анфиса у Баулина.

– А вон он синее!

Баулин показал в сторону, где по горизонту тянулась темная полоса. Анфиса сразу ее и не заметила.

Въехали в пески. Машина заскрипела от натуги. Из радиатора начал бить пар. Пески делались глубже, поднимались по сторонам сыпучими буграми. Кое-где торчали редкие кусты лозняка.

Среди этих горячих и сухих песков стояла деревня. Только одинокая ракита у околицы давала жидкую тень, а дальше все избы, дворы и широкая улица были залиты таким нестерпимым светом, что больно было смотреть.

В деревне было пусто. Редко-редко высунется из окна женщина или подбежит к плетню и повиснет на нем, разинув от любопытства рот, мальчишка с измазанными ягодой щеками.

Остановились около колодца, чтобы налить воды в радиатор и дать остыть мотору. Высокая старуха доставала из колодца воду. Она вытаскивала не больше трети ведра и бережно переливала воду в другое ведро, стоявшее на земле.

– Что ж так? – спросил шофер. – Вода у вас будто по карточкам.

– Ох, деточка!.. – вздохнула старуха. – Покуль наберешь воды, прямо измаешься! Безводное наше село.

– А где все? На работе?

– Ушли, милый. У нас поля далеко, за песками.

– Что ж вы пески такие развели! – шутливо попрекнул старуху Баулин.

– Ох, деточка!.. – опять запела старуха и заправила под платок седые волосы. – Пески у нас великие! Как солнечный день, так продыху нет. Калятся они от солнца и всё сушат, до самого корня. Вздохнуть нечем, деточка. А как ветер, так лучше не живи на свете. Все запорошит, в избу пыли набьет, песку полон рот – не отплюешься. А главное, заносит поля. Так и ползет, и ползет – хоть переноси деревню на новое место.

– Сами виноваты, – сказал Баулин. – Сосняк рос на песках – вырубил. Начали скот на порушке пасти. Скот всю землю истолок – вот тебе и пошли пески. А теперь жди, покуда их остановят.

– Ты меня не вини, – испуганно сказала старуха, – это дело мужиковское. Кабы наши мужики знали, что стрясется такая беда, неужто хоть бы одну сосенку срубили? Нипочем. И скот бы пасли на другом месте. Это хорошо, что нынче всё разъясняют. А ране кто нам мог разъяснить? До советской власти? Учительша совсем была хворая, а поп барышничал, лошадьми торговал по ярмаркам. И не служил, а прямо ржал – не разбери господи, чего и кричит! Такой уж нам попался.

От жары и пыли хотелось пить. Зашли в избу к старухе попить молока. В избе сидела на лавке девочка лет пяти и, затаив дыхание, во все глаза смотрела на Анфису и Тату.

Анфиса дала девочке конфету в цветастой обертке, но, пока девочка ее рассматривала и озабоченно сопела, из сеней осторожно вошла пестрая курица, не спеша подошла к девочке, выхватила у нее из рук конфету и тут же на полу начала было поспешно ее клевать. Девочка заревела, зажав кулаками глаза.

Конфета была спасена, и девочка успокоилась.

Поехали дальше.

Вскоре начались пески, усаженные рядами сосенок и чернобыла.

– Наша работа, – сказал Баулин. – Закрепляем пески. Они здесь летучие.

Сосенки становились все выше. На песках уже зеленело сосновое мелколесье. Среди сосенок во множестве цвели лиловые колокольчики и бессмертники.

«Да! – думал Леонтьев. – Что может быть лучше, чем так вот скитаться из деревни в деревню, из города в город, среди этих лесов, полей, рек, луговин, огородов, под солнцем, в запахе созревающей ржи... Скитаться и утром, и днем, и по вечерам, когда поют на возах, возвращаясь с покоса, женщины и глаза их кажутся золотистыми от заката... И по ночам, когда выпь перекликается в сырой темноте с низкими огнистыми звездами. И все это такое родное, давно известное и любимое: и гудки пароходов, и лай собак, и мычание коров, и далекий веселый голос гармоник около избы сельсовета... Обо всем этом я и буду писать, – думал Леонтьев. – О нашей земле, ее заботах, богатстве и красоте. О лесах и пастбищах, о тружениках, что живут на этой земле, о простой и значительной жизни народа».

– Го́ловы! – внезапно крикнул Баулин.

Анфиса быстро наклонила голову и услышала, как обмахнула весь кузов густая листва. Листья растрепали ей волосы. Тотчас в лицо повеяло живительным холодком.

– Вот и лес! – сказал Баулин.

– Анфиса! – крикнула Тата. – Смотри, что делается!

Пригоршни солнечных пятен бежали по лицу. Анфиса встала, схватилась за крышу кабины.

Дорога шла вверх среди столетних сосен. Подножия их прятались в кустарнике, а вершины качались среди облаков и ветра. И оттого, что дорога поднималась по увалу и лес становился все выше и выше, Анфисе казалось, что они, точно в сказке, несутся – летят в неизвестную страну.

– Как здорово! Ах как здорово! – восхищалась Тата.

Анфиса наклонилась к окну кабины и прокричала:

– Хорошо, Сергей Иванович!

Леонтьев улыбнулся и показал глазами на лес. Он делался все гуще. Солнечные лучи падали на цветущий подлесок, на его словно роящуюся листву.

На перевале машина остановилась около деревянной пожарной вышки.

– Перекур! – сказал шофер. – Мотор греется.

Баулин предложил подняться на вышку, чтобы оттуда посмотреть на леса. Он предупредил, что, поднимаясь по сквозным деревянным лестницам, нельзя смотреть вниз, а только на ступеньку перед собой. Вышка была не меньше тридцати метров, выше самой высокой сосны.

Баулин полез первым, за ним – Леонтьев, позади – девушки.

Анфиса поднималась вслед за Татой, и чувство растворения в потоках воздуха, возникшее еще в машине, не оставляло ее и сейчас. Ветерок обдувал платье, ноги, все ее тело, и оно, казалось, теряло вес, дышало свежим теплом.

Вершины сосен покачивались теперь совсем рядом. До их блестящей хвои можно было дотянуться рукой. На одной из вершин суежилась, стараясь спрятаться от человеческих глаз,

рыжая белка. На стволе сидел пестрый дятел. Он недовольно посмотрел на Анфису, будто спрашивал, что ей здесь нужно. Потом перебежал по стволу повыше и с размаху ударил клювом по коре. На самом краю тонких веток вертелись синицы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.